
О П Ы Т Ы

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Ю. П. ИВАСКА

К Н И Г А В О С Ь М А Я

Н Ь Ю - Й О Р К — 1957 Г О Д

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Георгий Иванов: Стихи</i>	3
<i>Ирина Одоевцева: Стихи</i>	4
<i>Игорь Чиннов: Стихи</i>	5
<i>Алексей Ремизов: Истины</i>	6
<i>Марина Цветаева: Письма Анатолию Штейгеру</i>	21
<i>Владимир Варшавский: Рассеянность</i>	26
<i>Владимир Набоков-Сирин: Заметки переводчика</i>	36
<i>Николай Ульянов: Мысли о П. Я. Чаадаеве</i>	50
<i>Юрий Иваск: Философ в дурацком колпаке (Филимонов)</i>	73
<i>Владимир Марков: О поэзии Георгия Иванова</i>	83
<i>Петр Ершов: Одесская литературная колыбель</i>	93
<i>Владимир Варшавский: К разговорам о Дудинцеве</i>	100
<i>Юрий Большухин: Поиски и находки</i>	105
<i>Владимир Вейдле: Ведь</i>	112
<i>Юлий Марголин: Психология лжи</i>	118
<i>Приветствия А. М. Ремизову: от редакции, В. Вейдле, Г. Иванова, В. Маркова</i>	126
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Ю. Иваск: Adam Mickiewicz in World Literature. Ю. Терапиано: Елизавета Баррэт-Браунинг. Португальские сонеты. Ю. Иваск: Александр Гингер. Весть. Лидия Червинская. Двенадцать месяцев. А. Б. День поэзии. М. Кантор: В. В. Розанов. Избранное</i>	131

Обложка работы А. Н. ПРЕГЕЛЬ

Пятый год издания

Зима идет своим порядком —
Опять снежок. Еще должок.
И гадко в этом мире гадком
Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком
Где всё потеря и урон
Считать себя, с чего-то, русским,
Читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю,
Когда растаяла зима...
О, Господи, не понимаю,
Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем,
А душу всё не продадим.

Вот эту вянущую душку —
За гривенник, копейку, грош.
Дороговато? — За полушку.
Бери бесплатно! — Не берешь?

1957.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Ты говорил: на вечную разлуку
Мою бесчувственную руку
В последне-предпоследний раз...
Слеза из засиявших глаз,
Как синтетический алмаз...

Твоя слеза,
Моя слеза.

Какие у тебя глаза?
Такие же, как были?
Ты всё такой же милый?

Не знаю.

Если ты теперь
Тихонько поскребешься в дверь
Узнаю? Не узнаю?

В преображении потерь
Ты стал горбатый, лысый,
Ты стал хвостатой крысой,
Ты стал крапивой иль грибом.
А прядка над высоким лбом?
А складка на высоком лбу?

Но ты давным давно в гробу,
На солнечном погосте —
И ты не ходишь в гости.

1957.

I

Ни добрых дел, ни твердой веры нет:
Не занят я, душа, твоим спасеньем.
Чем заслужу его? Стихами? Нет:
Стихи не жгли сердца, лишь были мне
Полузабавой и — полумученьем.

Что будет? — Смерть (в тоске, во зле, в грехах)
И в Судный день, меж пенем и стенаньем —
Рифмованные строки на весах:
Полуупреком, полуоправданьем.

Игра в ничью меж мраком и сияньем.

II

О Воркуте, о Венгрии (— о чем?)
О Дáхау и Хирошима...
Да, надо бы — как огненным мечом,
Стихами грозными, большими.

Ты думаешь о рифмах — пустяках —
Ты душу изливаешь — вкратце,
Но на двадцатый век тебе в стихах
Не удастся отозваться.

И если отзовешься — лишний труд.
Не будет отзвука на отзвук.
Стихи, стихи — их даже не прочтут.
Так пар уходит в зимний воздух.

И все-таки — хотя десятком строк,
Словами нужными, живыми...
Ты помнишь, есть у Пушкина «Пророк»:
О шестикрылом серафиме.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ИСТИНЫ*

Не от Каракаллы царя римского, не про его красные термы, бани по нашему, а от тощеты и дел бесследных начну мою повесть — буду рассказывать о обойденных в царстве земном, от них же первый был и есть сосед и кум наш Алексей Иванович Баланцев и великое множество с ним и выше его и за ним, кинутых в ров львиный — канаву плачужную со дня рождения, от Каракаллы царя римского до последней, изводимой учеными чумной бациллы, из микроскопа, зажатой меж стекол, вопиющей на небо.

Когда-нибудь потом я расскажу вам и совсем про другое и совсем по другому —

А если бы все мы знали, кинутые в ров со дня рождения, какое есть римское небо — я видел! какой холодок в красных Каракалловых термах среди развалин на Авентинском холме — я стоял там! и какая такая старая дорога Аппиева, — все бы шел, так и шел меж гробниц и полей, где из маков от пшеничного теплого колоса какие-то птички лиликают — я видел, я слышал!

Увы! и Рим с холмами и дорогами, вечный город — Рим, с римским правом, Форумом, Петром и Павлом, как и город мечты о человеческом счастье и воле — Петербург с проспектами и трактами, Медным всадником, с белой ночью и любимым, душу томящим, желтым осенним туманом — во рву, на дне плачужной канавы.

Премудрая Мать, милосердная, обойдя весь круг — круги мученические, стала у последнего — у плачужной канавы и как увидела всю-то муку:

* Из неизданного романа «Плачужная канава».

— Хочу мучиться с грешными!

Горьким плачем залилась —

И послал Господь своих ангелов в плачужную канаву небесной росой утолить горький плач, — и спустились ангелы Божии на самое львиное дно — без них измерли, измерзли, задохнулись бы все мы в тесноте и тощете и отчаянии! и вот от крыльев загорелись звезды, повеяло райским веєм, и голос, как оклик, прозвучал по заре —

О Хождении Богородицы по мукам, о плачужной канаве слышал Баланцев еще в раннем детстве от няньки Устиньи, а красных Каракалловых терм никогда не видел и старой Аппиевой дороги не видел, а только мечтал.

И чем тяжче бывало, тем жарче.

А бывало уж так хорошо, не позавидуешь!

Нынче-то и Алексей Иванович устроился, в страховой конторе служит на Невском: место его, хоть и не первое, самый он младший в инспекции, а все-таки должность порядочная и отнюдь ни на какого обойденного не похож.

У него на Малой Монетной и угол свой есть, и книжки кое-какие завелись старые, — старинную он любит книжку почитать неторопливую, — и чай пьет всякий вечер с филипповскими баранками.

Затащил к себе на новоселье, поставил самовар, — с полотенцем чай пили, инда пар из-за голенища пошел, и душа распарилась.

Посмотрю на приятеля, — правда, чем-то жалок, но никакой обойденный.

Вот когда та несчастная история с ним случилась, когда с места полетел он твердого и насиженного, да еще к тому же как раз и семейные дела его пошатнулись, вот тогда — вот тогда, как шатался он без дела и не год, а целых два с хвостиком, и один, как-есть, прожил день-за днем, а дни ему стали, как больничные, — все концы потерял, растерялся совсем, псу дворовому, конуре его завидовал, заключевнику

и каторжнику позавидовал — да пропади она, воля, и белый свет пропадом!

Да и потом на месте уж, на Товарной станции, куда, наконец, определился после двухлетнего-то шатания своего за грош и день и ночь корпеть без праздников, вот тогда —

На Золотоножской он тогда жил в Комаровке.

И как жил, один Бог ведает, — очень он тогда весь унился.

И думаю, не от истории своей служебной, — ну, с кем грех не случается, и почему его обвинили — вор! — а не управляющего — вор! — ей Богу, одинаково все делали, и не преступление какое, а попустительство, в этом и было все.

Да видно, если судьба тебе, все равно, не так, так этак пропадешь!

И в подтверждение судьбинного пропада своего вспоминался Баланцеву о ту пору судебный случай: судили окологородного — какие-то праздничные брал! — а свидетельствовал пристав, и ни для кого не было тайной, что пристав-то сам и есть первый и самый хватальщик, да пронесла судьба, не попал, вот и свидетельствовал.

Значит, судьба, — линия такая пропадная.

Но почему его такая судьба?

Нет, не история его несчастная тогда его унизила, а все вместе: семейные дела его пошатнулись, а вернее, просто пропали.

Вот это самое да нужда — она тут как тут — и унизили его.

И так ему как-то гадко на себя, на тень свою смотреть стало.

И куда бы ни пришел, а ходил он все по делам просительным, все словно бы чем-то на голову выше его делались и права какие-то на него самодержавные. А он перед всяким шута горохового и ну ломать.

Надо же как-нибудь, в самом деле, ни криком, ни слезами

ничего не возьмешь, — дело испытанное — ведь нет на свете подлее твари, чем человек!

А и так совсем молчком тоже невозможно, не выдержишь, подышать-то один конец, да чего-то не хочется из упорства, из любопытства, и еще от чего-то.

Ну, и вывертывал.

И в то же время, подумайте, всякое-то слово, намек пустяшный, а без этого невозможно — ведь, нет на свете грубее твари, чем человек! прямо его за живое, ой, как больно бывало, вот — захлебнется.

Обегал он всех, никого не забыл — тут в тенетах-то этих всякую щелочку припомнишь! — и знакомых, и самых дальних родственников, которых в другое время никогда бы и не хватился, — от родственников большее бывало, потому что права какие-то особенные, по крови что-ли, имеют на тебя, и ходить не стало к кому.

По опыту всей жизни моей и беды, и других, за кем следил в жизни, скажу вам: если не изменится что-то в душе человеческой, а такое от беды бывает, знайте же, никакое устройство жизни человеческой и самое человеколюбивое и человекодоверяющее, — свободнейшее, о каком только мечтали самоотверженные и благожелательные люди в тесноте и тощете и отчаянии, ничего не поправит, и останется человек, как был, первый подлец, подлее и грубее всякой твари на земле, и по всей справедливости ров львиный — канава плачужная законный удел и свое место человеку.

И некуда итти и некого больше просить.

И не то жутко, что пройти тебе некуда — ерунда! — а то беда, что и самого-то тебя уж не потянет ни к кому.

Заведется двугривенный, пойдет он, бывало, в пивную там ему место найдется, там и кривляться не надо!

То же и в церкви, часто в церковь ходить стал.

И стоит, бывало, за всею ночью и, кажется, так бы и не ушел никуда: каждое слово так особенно, словно для него,

— и слова, и всеобщая идет для него. И уж не сам с собою, как в пивной, как в глухой час в Комаровке своей тараканьей, а прямо с Богом:

— Господи, за что это мне?

Стоит и смотрит в тьму.

А из тьмы, — тьма какая-то есть в церкви от тоненьких свечей, — из черноты надсвечной, ждет ответа —

Или закроет глаза и стоит так, пронизанный весь тупой болью:

— За что это?

Он не мог примириться —

Ведь, он совсем не туда попал!

И не по его воле так вышло —

Значит, судьба!

Но почему его такая судьба?

У Баланцева голос был, — теперь уж не то, — бросил он университет, в консерваторию поступил. Думал, тут его дорога — выйдет толк. Потом женился, консерватория-то, и незаметно совсем, стала отходить, а нашлось место твердое, денежное, да так и дотянуло до истории этой несчастной с — попустительством.

И если бы не Антон Петрович, теперешний его начальник, пожалуй, и совсем пропал бы.

Это Антон Петрович вытащил его из тараканьей Комаровки и на Товарную станцию определил, а из Товарной станции перевел на Невский в страховую контору в инспекцию.

И знаете что, сам-то Антон Петрович, хоть и помощник инспектора и начальство, и жалованье ему вдвое против Баланцева, а тоже оказывается обойденный.

На этом собственно и завязалось у них знакомство в пивной в дни бесцельных шатаний Баланцева.

Да и слово это самое, ярлычек этот бестий — обойденный! — пришили на спину приятеля Антон же Петрович Будылин.

А копнуть, пожалуй, и начальник Антона Петровича, инспектор Блюменберг и товарищ его Комаров, уж люди как люди, а не миновать, попадут в обойденные.

Да и все правление — директора, даром что в собственных автомобилях резъезжают, и всемогущи, а повидай поближе да послушай: другой, может, с радостью пересел бы за Баланцевский стол и пожитки свои, что понужнее, перенес бы в угол на Малую Монетную, только-б избыть — беда беспощадна, и вход ей как царю в царские врата.

Так, подымаясь по лестнице всяких возможностей власти и удобств житейских, чего доброго, дойдешь и до самого Каракаллы, царя римского — и у него, — римского, окажется на спине такой же самый бестий ярлычек обойденного, как и у Антона Петровича Будылина и у Баланцева, соседа и кума нашего.

Баланцев занимал последнее место в инспекции, с ним равняли только барышень, получавших еще меньшее вознаграждение, а всех ниже стоял инспекторский курьер Константин.

И барышни, приравниваемые к Баланцеву, и курьер Константин едва ли были из тех, кому жилось на белом свете беспечально: постоянно слышались жалобы и лежала на лицах забота.

Вот Константин одно время, казалось бы, доволен не меньше доверенного Федотова, награжденного от природы всеми телесными дарами или, как говорили, в жеребьячем ряду стоял, но и Константин в свой черед забеспокоился. Захворала Паша — Паша проворная и чай подаст и услужит, всё у нее весело! — и всё, что скопил Константин за зиму, до копеечки всё извел на лечение и остался при одном жалованьи.

А если бы беда и мимо прошла, не захворала бы Паша, всё равно забота рано или поздно легла бы, как бестия тень, на лицо Константина.

Константину очень хотелось, чтобы инспекция форму для него ввела, «мундирную одежду», как в других конторах полагалось, и он не раз обращался к Баланцеву доложить Антону Петровичу Будылину, и Баланцев докладывал, но Антон Петрович по рассеянности своей забывал сказать Блюменбергу, а знай Блюменберг, да он для порядку обмундировал бы и самого Антона Петровича.

И это знал Константин, и, ходя не обмундированный, упречно смотрел и озабоченно.

А когда Константин стал собирать Пашу в деревню на поправку, оказалось, что все ненужные вещи, какие даже и Константину ни к чему, всякие коробки, протоптанная обувь, изношенные штаны, и вся эта рухлядь укладывалась с Пашей ехать в деревню, где и такое всё пригодится до ниточки.

И надо думать деревенские земляки Константина, стоявшие еще ниже его, и прельщавшиеся городским отбросом, за какое великое счастье сочли бы для себя поменяться местом с Константином, Константину же в свою очередь участь Баланцева была наивысшей и просто недостижимой.

Так спускаясь всё ниже по лестнице удобств житейских, власти и возможностей, дойдем до измученных работой животных, проводящих жизнь у нас на глазах на улицах и там, в поле за глазами; доберемся по тропам и дорогам до дикой звериной жизни лесной, водной, пустынной, воздушной, до царя зверей льва, занозившего себе лапу; до обиженной пичужки, у которой разорили гнездо другие птицы, до червядетеныша, мать которого съедена обиженной пичужкой, и, наконец, до чумной бациллы, над которой в лаборатории мудруют ученые с микроскопом.

Так и замкнется круг на земном царстве во рву львином от Баланцева до Каркаллы царя римского и от Каркаллы до чумной бациллы, в небо вопиющей.

Бестий язычек обойденности, как первородное проклятие, как Каинова змеиная печать, клеймила неизгладимо всю тварь, всякого, кто тянул канавную жизнь — бедовал над звездами.

И сама земля вопияла к Богу:

— Господи Боже, — вопияла земля к Богу, — устала я, измучилась, топчут, режут, грязнят, кровью пятнают. Нет моих сил терпеть! Позволь потрясусь, сброшу с себя проклятую ношу.

И воды вопияли к Богу:

— Господи, — вопияли воды к Богу, — освободи нас! Дай змеями подняться, смести с земли наших врагов: исквернили чистоту источников.

И ветры вопияли к Богу:

— Господи, — вопияли ветры к Богу, — мы от века вольные, теснят нас, отравляют! Дай же нам волю — встречником мы пронесемся над земной корой: очистим землю от горькой отравы.

И духи, переносящие мысли человеческие, измученные пустыми пересудами, безответственным судом и празднословием, вопияли к Богу:

— Господи, — вопияли духи к Богу, — мы не злые, мы стали злые, наше сердце обеспощадилось! Позволь же упасть на голову тем, кто нас посылает, дай освободить землю, воды, воздух.

И само солнце вопияло к Богу:

— Или дай я пожгу землю, Господи, — вопияло солнце к Богу, — или прекрати мой свет и тепло мое! Я омрачу, я заморожу всё живое на земле. Нет моих сил терпеть.

И облак понес Авраама с места судного на твердь.

Посмотрел Авраам на землю — и как ему ясно всё скрытое там от живых человеческих глаз! И какая ложь, и какое предательство, и какой обман, какая душевная низость и нищета духа, и бессовестье, — всё увидел он по всем земным концам.

Он видит: клянется человек человеку, чтобы клятвою обольстить сердце, зло надругаться над уверенным сердцем.

— Да снидет огонь и изожжет его! — воскликнул Авраам.

И сошел огонь и сжег обманщика.

И видит Авраам: хочет человек выгородить свою подлость и валит вину на невиновного.

— Да разверзнется земля и поглотит его! — воскликнул Авраам.

И потряслась земля и провалили клеветника.

И видит Авраам человека, вышедшего на торжище обольщать словом простые доверчивые души.

— Зверь пустынный, приди, растерзай его! — воскликнул Авраам.

И прибежал из пустыни зверь и боднув, растерзал обольстителя.

И другие беззакония — бесчисленные: бессовестность, недумание, черствость и скардность, подлость человеческую Авраам нещадно карал.

И видя Господь, что и малое видя, погубил Авраам в гневе не мало из живущего на земле в сем горестном веке, воззвал к архистратигу:

— Верни Авраама на землю: погубит он живую тварь. Не он создал, не ему и карать. «Аз — долготерпелив, щажу создание мое и воздаю всякому по его судьбе».

И по слову Господню вернул архистратиг Авраама на трудную землю.

И земля идет неустанно, то белая в снегу, то цветами нарядная.

Текут и волнуются моря и океаны, дуют, носятся ветры, духи переносят злые мысли, люди рождаются, растут, как растут деревья, травы, камни, строят свою убогую жизнь — рокот, вопль и вопль ударяются в надзвездную железную тьму —

— Господи, за что это?

— За что это мне? — шептал Баланцев кругом один и не один со всею тварью.

И есть ли — был ли кто, хоть один, среди обойденных в царстве земном необойденный без ропота и жалобы?

Баланцеву не раз вспоминалась одна счастливая старуха.

Ехал он в трамвае, и вошла с палочкой старуха — очень смешная: в красной фланелевой юбке, в бархатной голубой шубе, на голове пушистая ушанка. Такого наряда часто ли увидишь в Петербурге! Вся седая, остриженная, в очках и с необыкновенно здоровым цветом лица. С любопытством она озиралась и вдруг заговорила. Она разговаривала с каждым, она не могла утерпеть и рассказывала о своем счастье: пятнадцать лет, как ослепла, а на днях ей в клинике делали операцию, и она опять всё видит; пятнадцать лет она ходила во тьме, уж навсегда простилась с белым светом и вот видит белый свет и не наглядится.

Баланцев вспоминал эту встречу — счастливого человека, подлинно не обойденного, по крайней мере, в первые-то дни прозрения своего.

Но другие воспоминания гасили это единственное, застрявшее в памяти.

И повторяя нянькины слова, Устиньи-няньки, виделась ему плачущая канава — ров львиный — там среди черноты рассеяны звезды — мимолетные минуты счастья, — когда ангелы Божии нисходят на львиное дно.

А то темь — ночь — жалоба — вопль.

И человек подлеет, мучает, мучается.

А ведь, кажется, чего же проще и не то, чтобы там царю Каракалле приглубить чумную бациллу или Баланцову пойти к обездоленным зверям.

Нет, так далеко, пожалуй, и бесполезно — чрез какое отречение надо пройти и как побелить свое сердце, какое надо превращение всего существа и высота духа, чтобы проник-

нуть человеку — до чумной бациллы или по приятельски заговорить со зверем.

Ни царю Каракалле, ни Баланцеву такого ни по чем не совершить, даже если бы пожелали, потому что, и это мы знаем: ни Каракалле, ни Баланцеву сил таких не отпущено и вышли они в мир один римским царем, другой служащим в страховой инспекции на Невском, оба простыми обыкновенными людьми — перстью.

Нет, зачем так далеко, пусть бы чумные бациллы соединились хотя бы с холерными, а звери со зверями, а люди с людьми в единой воле облегчить друг другу тягчайшую и опаснейшую общую долю жить на трудной земле во рву львином.

А всё делалось как раз наоборот.

Люди, гонясь за внешними удобствами жизни, направляли свои мысли и всю силу своего ума не к тому, чтобы найти пути приблизиться и почувствовать друг друга, а лишь только, чтобы облегчить внешнюю сообщаемость между собой.

И духовное проникновение притуплялось.

Люди летали по воздуху, как птицы, а не замечали под носом и самое немудреное человеческое горе.

Люди исповедывали единого Бога, Христа и Духа, крест носили на шее, а ведут беспощадные войны, истребляют друг друга, как мух.

Исповедывали свободное безбожие во имя божественного разума и вольной воли, а попирали эту волю в каждом, кто смел не соглашаться.

И царственных волей было столько, сколько оказывалось на лицо вооруженной «сами».

И в грядущем с завоеванием и победой над внешним всё сулило душевную грубость и такой скрежет, о котором и в Устиньином аду не слышно.

Ведь, первая беда, а с ней сознание, что обойден, и первое пробуждение совести, а с ней сознание, что и сам-то ты, обойденный, сам кого-то еще топчешь, каким это режущим

воплем пронзит человеческую душу — человека, летающего птицей.

И какой неизгладимой мыслью канет в памяти, вмещающей всю житейскую мудрость.

Да тогда уж и самый тончайший и до последней точности вымеренный инструмент, не одной счастливой старухе, а тысяче ослепших, никогда не вернет взмученной душе белого света, и падет на душу черное отчаяние: просто идти уж некуда и не знай начать с чего.

И будет так: с внешней легкостью общения духовная общаемость совсем прекратится, — ангелы забудут пути к людям — и земля провалится, как Содом и Гоморра.

На обойденной земле обойденные люди мечтали о справедливости, а своими делами чисто внешними укрепляли свою обойденность.

На обойденной земле обойденные люди, стражда, устанавливали законы жития — железную узду на себя — на жестокое человеческое племя, грубо граня дозволенное от запретного — и пристав, первый хватальщик, мог законнейшим образом свидетельствовать на уличенного околодочного.

И об этом как было не думать Баланцеву: ведь, он же первый был в шкуре околодочного, и как пристав на околодочного, свидетельствовали на него люди, которым пронесла судьба.

Твердыня несокрушимая — законы — государство — суд человеческий — справедливость — нет, не мир, несла эта твердыня человеку, а еще глубже — ров.

И люди подлели, мучили, мучились.

Но скажу так: если бы и вышло так, что под большой бедой люди уж готовы были бы соединиться, как обойденные, нашлось бы такое разъединяющее, такие стены, и уж бесповоротно.

И такое разъединяющее всегда было.

И это не пол, не возраст лет и нрава, а возраст духа: не-

одинаковыми являемся в мир — один, как ангел, другой, как моль, — и дар благодарности духа неравен.

А по духу и судьба.

А по судьбе и любовь.

Да, если бы обойденные и соединились на обойденной земле во имя ли Божье, т. е. высшей силы нечеловеческой, или во имя свободного безбожия в вере в человеческий разум, во имя свободы, равенства и братства обойденных — отчаявшиеся и одичавшие в беде в своем последнем отчаянии готовы поверить и в этот прекрасный обольщающий призрак! — ров, куда брошены люди со дня рождения своего — канава плачущая останется темна и свирепа.

А и в самом деле, ну, как долговечно такое свободное соединение человека с человеком, когда нельзя и представить себе даже намека на закон общий и равный для ангела и моли.

Судьба человеческая разна — разна положена она по возрасту духа.

А по судьбе любовь.

Толкуя и перетолковывая в тараканьей Комаровке о своей судьбе, понял Баланцев, что его пропавшие семейные дела несоизмеримо важнее других его несчастных дел и куда судьбиннее.

И устроившись на Невском, позабыв про свое старое служебное, он никак не мог забыть о том, что произошло в сердечной его домашности, и чувствовал острейшую обиду.

И эта обида затмевала всякое его благополучие, — угол на Малой Монетной и чай с баранками филипповскими.

Виня себя в мелочах перед женой, в одном он упрямо оправдывал себя: насиженное и крепкое место, ради которого он бросил консерваторию, ведь это жертва его любви к ней — он всё для нее отдал, отошел от своего главного, принизил себя.

И словно в насмешку, как раз, как с местом-то ему пришлось расстаться, ушла и она от него.

И хотя он не мог не понимать после всех-то своих канавных раздумий, что любовь — по судьбе его, и оборвалась она еще задолго до его служебного несчастья, он всё-таки в обиде своей приурочивал охлаждение жены к своему несчастью.

А она не только ушла от него и сошлась с другим, но и дочь взяла с собой — отняла последнюю соломинку, за которую схватился бы он в несчастье и обиде.

Нет, он не мог примириться.

А в то же время жена его, связав свою жизнь с другим, тоже никак не могла примириться с тем, что произошло в ее жизни о-бок с покинутым мужем: он испортил ей жизнь, измучил ее, и он же еще и оправдывается, больше того, упрекает — жертву принес!

Она не верила этой жертве — всё равно, такая уж судьба его, — всё равно и один без нее он не кончил бы никакую консерваторию.

И вот хочет, чтобы и ребенок был не с нею, а с ним!

И это соовсем невозможно, потому что она — мать, и ребенок прежде всего ее.

А кроме того, да разве он воспитает? Да он одним видом своим жалким искалечит.

Да и куда ему! Самому-то ему хоть бы как на дорогу выбраться.

И вот в несчастье и обиде своей он сетовал на судьбу и горевал безнадежно, потому что любил.

А она, сетуя и обвиняя его во всём нелюбимого, по старой ли любви своей жалела его, и хотела бы облегчить ему в его беде и ничего не могла.

И был тупик, из которого не было выхода.

Надо было какую-то другую силу выше той, что отпущена на век их, чтобы выйти из тупика и примириться с судьбой — друг друга принять.

Такой силы не было.

И оба непримиренные, глядя во тьму, одно вышептывали, одно горькое — безответно, одними устами и единым сердцем:

— За что это?

А знаете, что я скажу вам?

А скажу вам от всего сердца: будь благословенна беда, скорбящая душу человеческую, и горе, ранящее сердце! Ведь только беда, только горе еще пробивают тот камень, которым завален крылатый дух в ползком человеке — а без духа, посмотрите — что есть человек человеку?

Человек человеку не бревно — чего там бревно!

Человек человеку — подлец.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ПИСЬМА АНАТОЛИЮ ШТЕЙГЕРУ

Chateau d'Arcine, 1-го сентября 1936 г.,
среда

XIV

Письмо о стихах

— Что я об этих стихах думаю?

Первое и резкое: убрать кавычки — и отличные стихи.

Зачем и откуда — с Вашим чудесным сердцем — кавычки на таких чудесных, чудодейственных вещах, как жалость, труд, страдание, любовь, подвиг?

Что такое кавычки? Знак своей непричастности — данному слову или соединению слов, знак его условности в наших устах. Подчеркнутая чуждость их простому употреблению и толкованию. Знак своего превосходства — над их простотой. Кавычки — ирония. То же самое про «так называемую жалость». Так называемая, а многими так не называемая, мною не так называемая, мною называемая — слабость (глупость).

Но родной мой, вычеркнув из своего душевного обихода и словаря — слова (и понятия) — совесть, расплата, нищенство, больница, тюрьма, братство, любовь, труд — что тогда от мира и от сердца останется?

Вы скажете: — М. И., Вы передёрнули, Вы подменили пошлые (ставшие пошлыми) словесные соединения — именами существительными, пошлыми быть не могущими.

Но, мой друг, что пошлого — в больничной палате? Это и пошло, а — точно. То же и о нищенской суме (я, кроме этой нищенской суммы, в России, с 1917 г. по 1922 г. ничего не видела, но ее зато — непрерывно). И расплата за день — не пошлость. М. б. немножко общё. Беря эти слова в кавычки, Вы

* В книгах 5-ой и 7-ой были помещены первые 13 писем М. И. Цветаевой.

в кавычки берете не словесный трафарет, ибо эти слова — не трафарет: слишком уж насущны, как «черный хлеб», как сам чёрный хлеб. Остаются другие: (о) «равенстве, братстве, труде» (привожу по памяти) и «мысли о меньшем, страдающем брате» — да, эти слова — трафарет, но зачем же Вы их берете? Зачем же Вы пользуетесь грошёвым орудием чужого неумения — чтобы разбить бессмертные вещи?

Ведь два вывода: либо Вы, в этих стихах сражаетесь с словесным трафаретом, а не с вещами, тогда — стоит ли? Либо Вы наивно отождествляете бессмертные понятия с пошлыми наименованиями (из которых половина не пошла, а — до ужаса выразительна), по чему Вы в этих стихах бьете? По громким фразам 60-х г.г. Но для них это не были фразы, они за них умирали (вспомните последнее письмо Софии Перовской — матери — о «воротничках», стоящее последнего Шарлотты Кордэ). По самим вещам (жалость, любовь, труд)? По себе — такому дураку, что в них поверили и на них — оборвались?

Стихи эти я читаю — наоборот: без кавычек, и — честное слово — даже в «меньшем брате» никакого трафарета не чувствую. Простая болевая правда их — уничтожает их некоторую общность, слова эти здесь (т. е. от Вашей внутренней правды) звучат заново, совершенно не смешно, — в полный и смертный серьёз. (Как я хотела бы — чтобы они так были написаны, и до чего они так — внутри — написаны!).

Конечно (и в этом сочувствую Вам как пишущий) куда тогда девать дребедень и ерунду (которым, кстати Вы противопоставляете какую не дребедень и не ерунду?). Заметьте, что Вы здесь, в 8-ми строках израсходовали всё человеческое величие, что у Вас на противопоставление не останется ничего — кроме всей человеческой малости.

Компромиссный ответ: если Вы так уже держитесь за жестокие, несправедливые определения жертвы — как ерунды и дребедени, всё же уберите кавычки, ибо (помимо их оскорбительности и моей оскорблённости, в них, за Вас — нехорошо; в стихах нехорошо столько кавычек, это уже вроде статьи. Стихи должны писаться словами безусловными — а не условными. Сам приём — дешёв — не сердитесь, то же самое, как какой-нибудь пурист из «Посл. Нов.», за ленью употребляет какой-нибудь советский, ходкий, якобы ненавистный ему, а по существу — необходимый оборот. Если Вы эти вещи

(жалость, любовь, труд) — ненавидите, разбивайте их по существу (Ницше). Если Вы эти вещи ненавидите — не употребляйте их. Нельзя отказываться от вещи полным ёю же — ртом. Отречение прежде всего — поднятие себя из е ё, её из своего оборота.

...Тут двое стихов, неслитых и неслиянных. Второе — 5 строк, законченных и замечательных. Это совсем отдельные стихи, с теми незнакомые, связанные только одинаковостью размера. Прочтите сами, а б ы в начало:

Бедность легко узнают по заплатке,
Годы — по губ опустившейся складке,
совсем, совсем Горе?

хорошо — Но здесь начинаются прятки.
Эта любимая, взрослых, игра.
Всё, разумеется, в полном порядке.
(У собеседников с плеч гора).

Только не у собеседников, а у собеседника. Непременно. 1) Так мне запомнилось, а мне всегда запоминается по лучшему. Так напр. у Бальмонта — Морское дно — последние слова поэмы: — Два слова сказала мне дева со дна — Мне вам передать их дано. — Я видела солнце, сказала она — Что дальше не всё ли равно. Так я, 14 лет, прочла — запомнила. А у него оказалось: после. Ведь насколько хуже — и по звуку (да-а-альше и после) и по ограниченности понятия «после» — временем (дальше — и время, и пространство: даль годов и вёрст, просто — даль). Кроме того, с первой строки до последней мы видим у Вас не ряд лиц, а одно лицо, лицо одного человека — бедного, стареющего — работу жизни над одним, данным человеческим лицом. И (последнее, фактическое) спрашивает (как поживаете?) один собеседник, а не двое или трое. Проведите стихи на единстве — показуемого и вопрошающего. Тогда каждый в них себя узнает, а не все. (Всех — нет, т. е. есть — и тогда нет никого).

Вот, мой родной, по полной чести и совести, что я думаю об этих Ваших стихах. Пришлите ещё, если есть. И — пишите ещё, этого дыхания Вам ничто не съюзит. Пусть стихи будут Вашим безграничным вздохом.

И опять возвращаюсь к письмам и стихам. Смейте. Берите из себя письменного (не из писем, а из того, кто — или верней: что их в Вас пишет: отождествите поэта с человеком).

Не заставляйте поэта говорить ни жёстче, ни презрительнее, ни горше, чем говорит человек (не когда с другими говорите, и м. б. — не когда со мною, а — с собою).

Ведь смотрите: Ваше письмо и Ваши стихи — на той же бумаге, теми же чернилами, тою же рукою, тем же присестом руки — и два разных существа. Человек (Вы) — несправедливо и неправомерно —обреченный, 26 лет (?) — не жить, отсутствовать, с м о т р е т ь на горы — вместо того чтобы их б р а т ь, да ещё — поэт, т. е. самая уязвимая, и в полном здоровье непрерывно ранимая природа — этот человек, почти мальчик, находит в себе мужество сказать: «...и умирают от чахотки под мостом, тогда как я сейчас в отличных условиях» — тогда как в священном праве был бы прямой удар Богу: — почему столько идиотов, моих сверстников, растрачивают свой избыток сил, мускулов, — дыхания — сердца — крови — по футбольным и иным площадкам, топчут его — на этих площадках — ногами — Твоё дыхание — ногами топчут! — тогда как я, существо разумное и одушевленное, а м. б. и и з б р а н н о е — просто не могу дышать. Кто взял мои лёгкие? За что?

— Нет, В ы думаете о несчастнейших себя: о подмостных, о вконец недвижимых — во всём Вашем вопле (чистого отчаяния) ни звука упрёка и справедливого бы негодования — никакого равнения по счастливейшим. Ваш вопль — чист.

А поэт — В ы — больничную палату берёте в кавычки. И Вы думаете я ему — верю???

О Вашей болезни («так может длиться годами, десятилетиями...») я Вам напишу отдельно, я об этом непрерывно думаю — и тут нужно что-то решить раз-на-всегда.

Но так как я Вам к а ж д ы й день обещала — радость (а письмо невольно вышло серьёзное) — вот стихи, единственное достоинство которых — тождество с бывшим (и сущим во мне каждый день и час моей жизни).

М.

До завтра!

Снеговая тиара гор —
Только бренному мигу — рамка.
Я сегодня плющу —пробор
Провела на граните замка.

Я сегодня сосновый стан
Погоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребёнка за подбородок.

М. Ц.

16-го—17-го августа 1936 г.
Савойя.

ВЛАДИМИР ВАРШАВСКИЙ

РАССЕЯННОСТЬ

(Из записок художника)

Сад на берегу моря. Со мною все мои близкие. Щемлящая жалость: я недостаточно их любил. Тем радостнее было, что на самом деле никто из них не умер и не должен был умереть, так как смерти нет. Меня даже удивляло как я не знал этого прежде.

Внезапный взрыв безжалостного звона разрушил счастье открывшегося мне таинственного объяснения. Оставленная отливом сна моя голова лежала, чугуно вдавившись в подушку. У самых глаз — неподвижная, желтая, непонятно посторонняя рука. Она будет так лежать после того невероятного, невообразимого, чудовищного события — мерзостно восковая, как у всех других... Этот день неизбежно придёт, значит уже как бы существует, уже приближается из темноты будущего.

За валом предплечья, сквозь дым печально и сочувственно молчавших сумерек проступали отвесные стены. Какой-то грот или пещера. Я сейчас же узнал мою комнату. Под моим взглядом шкаф, стол, стулья оказывались на своих привычных местах. Равнодушные свидетели моей жизни, они на самом деле всё время здесь присутствовали, пока я спал. Я смотрел со странным чувством. Так Одиссея смущала в аду бледность теней героев.

За окном шум улицы, гудки автомобилей. Нынче понедельник, надо идти на службу. Это об этом хрипло звенел будильник, а вовсе не о новой жизни, как тот петух у Мандельштама: «на городской стене крылами бьет»... Рассвет давно исчезнувшего римского дня... Блаженное молочноголубое сияние моря в мае. Ещё пустынный пляж. У берега море чуть колышется, как в тазу. Невысокие волны лениво катятся одна за другой и с тихим журчанием разливаясь по отмели стекают обратно. Так уползает подол мантии. А следом солнце торопится стереть свое отражение, на миг просиявшее в неудержимо тускнеющей глазури высыхающего на глазах песка. Я как будто знал, что это о чём-то самом важном говорили волны, но никогда не мог заставить себя вслушаться... Бу-

дильник пыжился хлопнуть крыльями. Пузатенький, скорее толстый воробей, чем петух. Выше, в мыслимых потьмах, еле различимый, непроявленный образ — большая птица на заборе, ворон...

До самого вечера одетый по форме, — куртка вроде военной, штаны с лампасами — я буду ходить по длинным коридорам, разносить письма и пакеты. Ни завтра, ни послезавтра ничего другого, ничего более радостного не предвиделось. Мне было странно думать, что это и есть моя жизнь.

Холод внезапного понимания — я всегда себя обманывал, почему-то надеялся, что мне откроется что-то. Какая чепуха, глупость. Моих восприятий и моего разума достаточно, чтобы ходить на службу, чувствовать усталость, знать, что я умру, но, когда я хочу сосредоточиться, чувство привычности окружающего исчезает и сознание останавливается перед чем-то несоизмеримым с представлениями и словами. В устрашающей неизвестности всего оставалось только чувство моего необъяснимого существования. Полное одиночество. Я ничего не находил в себе: ни любви, ни надежды, ни вдохновения, ничего глубокого, радостного. Прежде я всегда молился: «спаси и сохрани», а теперь страшно смерти внутри меня и мне обязательно нужно, чтобы Бог был, для того чтобы он пробудил во мне... Тут являлись только очень приблизительные сравнения: колодец, который я рыл в плену в Германии — всё ждал вот забьёт вода, — или тот родник из которого мы пили на юге Франции, на дороге в Сан-Тропез. Какое тогда было солнце!

Звон будильника давно смолк. Страх опоздать подбросил меня на постели. Ноги привычно всунулись в туфли. Стрелка передвигалась по черным меткам. Но я всё сидел, слегка покачиваясь в изнеможении. Сейчас пойду под душ, потом оденусь, побреюсь. Мое тело будет всё это проделывать как заводное, но прежде героическим усилием нужно заставить себя встать. Неудержимо тянет повалиться обратно в сон. Такая усталость во всём теле, словно я проснулся на другой планете, где воздух тяжелее, чем на земле. Люди скоро будут летать на другие планеты. Я потому так боюсь смерти, что жизнь проходит, а я ещё по настоящему не начал жить.

Должность несложная. Каждые полчаса обойти десятка два канцелярий — принести и забрать пакеты, письма, книги. Совсем не тяжело, но к вечеру я ужасно уставал. Главным

образом вероятно от скуки. Утром ещё ничего, кое-как удавалось сопротивляться. Но часам к четырем жизнь совсем останавливалась. Обрывки случайных мыслей и только считаешь сколько ещё остается времени до конца занятий. Чтобы бороться с отчаянием я старался думать о Восточной реке, как о единственном друге, который может мне помочь. Она встречала меня по утрам то голубая, то серая, то сверкающая серебром в пролете между огромным стеклянным небоскребом, где я работал, и соседним заводом, на крыше которого тревожно дымила целая роща высоких толстых труб. Заволоченное их чёрным дымом над ними раскрывалось трагическое небо.

В России фабричные трубы, кажется, не такие были. Я помню. Я смотрел из окна поезда, или где-то на окраине это было. Зеленые деревья, низкие домики. Над ними таинственная, без окон и дверей круглая кирпичная башня вроде крепостной, но очень тонкая и высокая-высокая. Кружится голова если представить, что стоишь там наверху. Не удержать равновесия. Качнулся хватая руками воздух. И внутрь её тоже легко упасть, в страшное чёрное зияние её жерла. Ведь она без крыши, вся напролёт пустая, чтобы дым мог выходить. А как же трубочисты? Как они влезают наверх?

Но вместе с боязнью восхищение. Стройная, почти розовая в лазури неба, она стояла, окруженная в недостижимой вышине чудным спокойствием. Там была добрая, радостная тишина, будто проникнутая знанием чего-то вечно существующего. Конечно, в детстве я не сказал бы такими словами, но я помню именно это я видел. Эта тишина обещала мир и счастье, до боли несовместимые с моими теперешними заботами, беспокойством и страхом.

А трубы на крыше этого завода были грязно-бежевого цвета и стояли сбившись в кучу. Неприятное впечатление. Не то отростки какого-то чудовищного гада, не то обугленные стволы ископаемых окаменелых деревьев или наведенные в небо хоботы тяжёлых зенитных орудий. Впрочем, если пристально взглянуть самый обыкновенный завод. На цементном дворе, видимом через решетку, в одном углу даже пробивалась травка.

Во время моих обходов я каждый раз хоть на мгновение останавливался у окон, выходящих на Восточную реку. На Бруклин — на том берегу было скучно смотреть. Железный мост, маленькая точно сложенная из коричневых кубиков цер-

ковь. За ними что-то оловянно светлело между крышами, канал или асфальт. Плоский и жалкий по сравнению с Манхатаном город. Всё какие-то склады, заводы, цистерны. Всюду дымили фабричные трубы, будто вся земля там дышала, дымилась сопками. Проходили облака и цвет столбов дыма менялся. То серые, то ярко белые, то бурые, почти чёрные они клубясь вытягивались через полнеба, бледнея и тая в вышине как призраки.

А на реку никогда не было скучно смотреть. Странно, внутри здания было так много народу, стучали пишущие машинки и телетайпы, важные люди, получавшие большие жалования, обсуждали и решали важные дела. И всё-таки казалось, что здесь никогда ничего не происходит. Мерным шагом я обходил мои канцелярии через одинаковые промежутки времени, как ходят фигуры на старинных часах. А там на реке всё поминутно менялось, жило, двигалось. Сколько буксиров, паромов, барж, маленьких и больших пароходов. В туманные дни от низких протяжных гудков дрожали стёкла. По середине реки каменным алигатором дремал островок. На его чёрную спину слетались чайки. Океан был совсем близко. И всегда всё было по другому освещено. Один день солнце. Небо ясноголубое, какое бывает летом, лишь внизу линиялое, почти белое. Но и эта белесина постепенно голубеет. Вода совсем синяя. А на следующий день всё голубоватосерое и лишь на юго-востоке лиловая мгла и сквозь эту мглу нежно расцветает розовое сияние. Ещё через день весь вид за окном будто внутри огромного аквамарина: зелёная река и небо зелёное.

Только во время перерыва на завтрак я мог смотреть подолгу. К счастью окна столовой для служащих выходили на восток.

Столовка всегда была переполнена. Говор множества голосов и звяканье ножей и тарелок сливались в сплошной гул, в котором только изредка отчетливо звенели отдельные слова и раскаты смеха. От всего этого шума, от усталости и оранжерейно нагретого воздуха кружилась голова. За усовершенствованными зеленоватыми, как в аквариуме, стеклами — небо, облака. Внизу на реке между светлых и будто неподвижных лас стремнина шла, рябя мелкими свинцовыми волнами. Если долго смотреть, начинало чудиться, что бетонно-стекляная сорокаэтажная громада плывёт в воздушной бездне.

Сегодня я оказался за одним столиком с Джо. Как обычно он говорил о женщинах: «когда она разделась, я прямо ахнул, настоящая нимфа». Рассеянно взглянув в окно, я вдруг увидел: там бесшумно двигался большой пароход. Дым из его трубы развевался по ветру гордо и прекрасно, как перья на шлеме паладина. На картине Тициана Карл 5-й в золотых доспехах так едет на бой с копьем в руке. Билось сердце. Будто духовный оркестр играл там торжественный марш. Но я не мог расслышать. Пароход шёл за окном в потустороннем ландшафте. Я стал внимательно всматриваться. Пасмурное небо тяжело набухло снегом, лишь на юге, над белыми вершинами облаков бездонная синева. Всё чудно освещено одновременно и ярко, и туманно. Корма парохода как с экрана волшебного фонаря неудержимо ускользывает за косяк оконной рамы. Поперёк реки теперь перебивается буксир. Из его высокой трубы всходит в пасмурной мгле жемчужнобелый, неземной дым. Потом ветер переменялся, дым свалил набок, стелется почти над самой водой и вот взвился и обернулся вокруг трубы. Труба стала похожа на балерину с шалью или на тореадора с мулетой. Ветер крутит снежинки. Вдруг я вспомнил. Почему-то в этот раз пошли не в кинематограф у Никитских ворот, куда мы всегда ходили, а в другой, на Пречистенском бульваре. Надпись погасла. В мигании экрана, словно в прозрачном окне, по которому стекал дождь, стал виден каток. Туманный зимний день, снег, сияние льда. Сейчас же сбоку вырвалось плечо и на середину выбежал согнутый человек в белой фуфайке. Размашисто шаркая по иссеченному льду гоночными коньками, он, уменьшаясь, стал быстро удаляться вглубь миража катка. Так же несомненно, как смотря на отражения прохожих в зеркальной витрине магазина, знаешь: за спиной настоящая улица, я знал по многим признакам: этот человек на экране пробежал в действительности. Но ведь тут не зеркало было. В зеркале отражался бы таинственный в темноте зал кинематографа с рядами неясно белевших лиц, а не эти конькобежцы, состязавшиеся не здесь и не теперь, а как было сказано в надписи, несколько дней тому назад, на окраине Москвы, на большом катке, куда меня за дальностью не водили. И вот я видел это состязание, как если бы я там присутствовал. На экране всё происходило совершенно так, как было в жизни, но волшебнее чем в жизни.

Когда я на самом деле видел состязание конькобежцев

на Патриарших Прудах мне очень понравилось, но я не испытал такого восхищения. Я прозяб на морозе и устал. Уже темнело. Издали люди, бежавшие на перегонки по ледяной дорожке, почти чёрной среди голубых сугробов, казались маленькими. Огольцы, подбадривая, отчаянно кричали головному: «Ипполитов, Ипполитов!»

Вернувшись из кинематографа домой, я нарезал стопку бумажных квадратиков и принялся рисовать. Но к моему огорчению бумага оставалась плоской. Ни туманный воздух, ни влажное серое сияние льда не возникали на ней из под моего карандаша. И как бы быстро я не листал квадратик, не получалось того восхитившего меня в кинематографе впечатления жизни и движения, которое мне так хотелось передать.

За этим воспоминанием было ещё что-то, но я не мог вспомнить. Я снова посмотрел в окно. Боже, до чего прекрасно. Казалось душа не выдержит такого восхищения. Нет, это не может перестать быть. И всё это во мне, мои восприятия. Значит и мое сознание сохранится... Необъяснимая уверенность в этом и в то же время всегдашнее мучительное недоумение. Внизу за окном, под расползающейся кисейей тумана рябили сизые волны. Широкая и многоводная Восточная река спокойно, как в лоне отчизны, текла там в невообразимой бездне. И она и великий простор неба над нею смотрели в эту бездну с молчаливым согласием. С таким выражением взглядывают друг на друга взрослые, когда говорят о непонятном детям. Но я был отъединен от этого покоя, всегда чувствовал страх. Здесь было что-то неместимое. Видеть мир, знать, что меня создали те же силы, которые создали его и одновременно знать, что в этом дивно прекрасном мире я, как все люди, приговорен к смерти. Небо с равнодушием беспамятства будет смотреть, как я умираю, и Восточная река всё также дремотно будет миллионы лет катить в океан свои невысокие волны. Я чувствовал теперь глубину и холод её вод, как если бы мое тело лежало там на дне. И такая же отъединенность от людей. У нас у всех более или менее одинаковое сознание, причастное единому, первоначальному, всеобъемлющему сознанию, которое должно быть. (Но пусть не думают, я не последователь Аверроеса). И всё-таки никакого братства, а на войне даже убивают... Вот это самое страшное из-за чего не хочется жить — зло в самой жизни. Пусть мироздание не имеет человеческого значения, пусть

даже смерть, лишь бы люди, оставшись одни, стали братьями, как мечтал Версилов. Тогда, мне почему-то всегда казалось, была бы надежда. Это вовсе не сентиментальность. Я видел эту тоску по братству у солдат на войне... Здесь какая-то ошибка... Если бы вместо того, чтобы ходить на службу, я мог заниматься философией и живописью, мне открылось бы...

— Посмотри на эту блондинку, — сказал Джо, —

Мне стало досадно. Я сам постоянно думал о женщинах и это мешало мне сосредоточиться.

В детстве я прочёл в хрестоматии басню Хемницера «Метафизик». Я еще не знал тогда, что я глуп. В этой басне говорилось о «думном детине», который хотел «сыскать начало всех начал». Задумавшись он упал в яму. Его отец прибежал с веревкой. Но он вместо того, чтобы ухватиться за веревку, стал спрашивать: «скажи мне наперёд верёвка вещь какая?». Потом про время: «а время что?». Его отец тогда рассердился и сказал: «а время — вещь такая, которую с глупцом не стану я терять». Мне это показалось обидным. О времени я тогда почти совсем ещё не думал, жил в настоящем как в начале вечности. Другое дело вопрос о верёвке. Что тут глупого? Мне самому приходили в голову вопросы вроде этого. Какой-нибудь самый привычный предмет мне вдруг представлялся как бы совершенно отдельно от всего. Я помнил для чего он служит, но я чувствовал: я не знаю что он такое на самом деле.

В первый раз это случилось со мной ещё до первой войны. Мы жили в то лето на рижском взморьи, в Булине. Раз мы поехали в Мариенгоф или может быть в Ассерн. На пляже было много народу. На купальнях развевались флаги. Над праздничной толпой медленно вращалось огромное колесо с подвесными корзинками. В этих корзинках сидели люди. Возносясь в небо, они казались издали совсем маленькими. Свет солнца так падал, что в вышине, в голубом сиянии их головы превращались в чёрные точки. Один махал рукой. Как они не боялись? Дух захватывало смотреть.

После пляжа мы пошли в ресторан на открытом воздухе. Там были дорожки, усыпанные хрустевшим под ногами гравием. Среди клумб блестели цветные стеклянные шары и стоял глиняной гном в красном колпаке. Играла музыка. К нашему столику улыбаясь золотыми зубами подошёл

незнакомый господин во фраке. Папа называл его хер-робером.

Потом мы кого-то ждали около станции. Через загородку было видно железнодорожное полотно. Накатанные до бела рельсы словно перегоняя друг друга, но на самом деле всегда рядом, бесконечно уходили вдаль, хотя они были привинчены к шпалам и не двигались. У самой решётки валялась жестянка от консервов. На плече пустой бутылки лучисто пылало маленькое отражённое солнце. Из пыльной крапивы высовывался угол старой пожелтевшей газеты. Меня поразило как здесь всё по другому было, чем на пляже и в ресторане. Там нас встретили музыка, праздник, весёлая и нарядная толпа. Господин во фраке заботился, чтобы нас хорошо накормили. А здесь тишина, какая бывает в сосновом лесу на нагретой солнцем прогалине. До нашего прихода здесь никого не было, но так же валялась эта жестянка, отдыхала на припёке насыпь и свинцово блестя текли рельсы. Им всё равно было, что на них никто не смотрел. Я помню странное чувство: казалось я видел залитое ровным неподвижным светом другое, неизвестное мне отделение действительности, находившееся как бы за кулисами или даже под полом сцены.

Я знал, что последняя станция на железной дороге — Тукум 2-й. На карте зелёная земля России там кончалась на краю голубого моря. Мы никогда туда не ездили. Я часто воображал, что там таинственный и непонятный «конец света». Теперь я с грустью подумал, что там, куда уходила насыпь, такая же станция, такая же пыльная трава и также скучно.

С годами это находило на меня всё чаще. Самое простое обиходное слово вдруг звучало странно. Оно больше не соединялось с его смыслом, ни с какими вообще представлениями, ничего общего больше не имело с обычной действительностью. Я повторял его, но оно всё более таинственным становилось, словно раздавалось из какого-то другого пространства, из другого мира. Зачарованно прислушиваясь, я не мог вспомнить какой это был мир и чувствовал, как вместе с этим словом вся моя жизнь превращается в призрак. А иногда мне казалось, что я уже всё видел прежде, или смотря на себя в зеркало, я удивлялся почему это я, почему у меня такое лицо.

Эти припадки рассеянности сопровождались беспокойством, что я не участвую в жизни, а только со стороны наблюдаю всё происходящее, даже мои собственные мысли и поступки. (Вместе с тем меня всегда мучило, как я глупо держу себя на людях). И всё-таки я был ещё совсем здоров. Мне шёл уже двадцатый год, когда я в первый раз почувствовал, что я... Я жил тогда в Чехии, в Падебрадах. Днём я гулял по городскому саду и смотрел на толпу, потом шёл к себе. Я снимал комнату на самой окраине.

В тот день с утра шёл шумный дождь, потом перестал. Я посмотрел в окно. С улицы тянуло сыростью. Хор воробьёв ещё неуверенно ликовал детскими голосами. Через дорогу сквозь густую зелень деревьев виднелась жёлтая стена костёла. За костёлом деревья, пустыри... Дребезжа проехала порожняя телега. Мужик махнул кнутом, протяжно сказал: «ииоо!» Из под козырька кепки сквозь белесые ресницы оловянные глаза смотрели уныло и угрюмо. Коричневое от загара деревянное лицо заросло рыжей щетиной давно небритой бороды; длинная жилистая шея.

Телега давно проехала, а я всё стоял, прислушиваясь к замирающему стуку колёс. Я хотел вспомнить какое-то объяснение и вдруг с беспокойством почувствовал, что никакого объяснения не было.

Я думал перед тем о даме, которую видел вчера на гуляньи. Она шла мне навстречу, как прекрасный корабль Бодлера. Я жалел, что из-за бедности и робости не мог с ней познакомиться... Ещё я думал, что скоро осень, я вернусь в Прагу, буду держать экзамены. Но теперь я помнил обо всём этом недостоверно, как помнят о виденном во сне. Мне казалось, что я очнулся в каком-то неизвестном месте. Я смотрел с недоумением. Как я попал сюда? Где в бесконечности пространства находилась эта стена и где проехал этот мужик? Мне чудилось, что я в каком-то пролете, уходящем вверх и вниз в бездонную пустоту, страшную именно тем, что её на самом деле не существовало и что там никого не было. Я не мог вспомнить почему раньше всё казалось привычным и осмысленным и чувствовал тоску, как перед приступом тошноты, но только ещё более томительную. В хрустальном струении воздуха желтая стена будто чуть вздрагивала, будто всё время неуловимо пропадала и мгновенно снова появлялась. Это и была действительность. Ничего другого не бу-

дет, никакого будущего не будет. Остановившись, моя жизнь, бледная, исчезала...

Это невыносимое чувство сейчас же прошло, но ещё долго оставалась память о потрясении, таком же неожиданным и отвратительным, как когда я раз оступился и упал с подножки трамвая.

Только позднее я стал думать, что за этим головокружением было где-то в глубине совсем другое чувство. Оно постепенно стало проявляться во мне, когда я переехал в Париж и стал ходить по музеям. Смотря на картины нравившихся мне художников, я начинал лучше разбираться в моих собственных впечатлениях. Я всё лучше припоминал, как в мягком освещении вышедшего из-за облаков солнца был чудесен голубой цвет выгоревшей полотняной куртки на сгорбленной спине мужика и как прелестна была эта белая лошадь, медленно ступавшая разбитыми ногами. Сколько смиренной доброты было в её понурой голове, сколько простодушия в громоздкости её большого ребристого туловища и в расчёсанной чёлке на лбу. Вместе с телегой и мужиком она на мгновение была вписана в оконную раму с таким совершенством, будто окно выходило в вечность. Там были тишина, и мир, и свет, как в раю. Это и был рай, и эта белая лошадь — ангел. Я увидел всё это, как вероятно увидел бы настоящий художник. Скорее всего таможенник Руссо, у него есть такая белая лошадь на картине «Лето». Я завидовал художникам. Они всегда видели природу так, как я видел только в редчайшие мгновения, вернее даже не видел, а только предчувствовал, что сейчас увижу, только старался в мучительном напряжении увидеть. С тех пор всегда во мне боролись эти два противоположные чувства: отчаяния и восхищения.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ-СИРИН
ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

II*

В Америке, когда простой любитель словесности, как я, хочет взглянуть на редкую книгу или драгоценную рукопись, то, в зависимости от расстояния между ним и нужным ему книгохранилищем (скажем, от ста шагов до трех тысяч миль), он может получить оригинал или снимок с него в кратчайший срок (от пяти минут до пяти дней). Со старым Светом дело обстоит чуть сложнее. Когда мне понадобился фотостат мало известной новеллы Ламотта Фука («*Pique-Dame, Berichte aus dem Irrenhause in Briefen. Nach dem Schwedischen.*» Berlin, 1826), я получил его при посредстве Корнельской Университетской Библиотеки из туманной Германии только по истечении трех недель. Некоторые материалы, нужные мне для другого исследования, шли из Турции около двух месяцев — и это понятно и простительно. Но воображение меркнет, и немеет язык, когда думаешь, какие человек должен иметь заслуги перед советским режимом, и через какие бюрократические абракадабры ему нужно пробраться, чтобы получить разрешение — о, не сфотографировать, а лишь просмотреть собрание автографов Пушкина в Публичной Библиотеке в Москве или в ленинградском Институте Литературы. Поскольку американский переводчик отделен непроницаемой стеной от рукописей Е. О., он не может надеяться исчерпывающе осветить многие места романа, особенно где дело касается вариантов, почерка, пера, времени написания и т. д. (Впрочем, положение туземных пушкинистов повидимому не многим лучше). Ручаюсь за предельную точность моего перевода Е. О., основанного на твердо установленных текстах, но о полноте комментариев, увы, не может быть речи. В перерывах между другими работами, до России не относящимися, я находил своеобразный отдых в хождении по периферии «Онегина», в перелистывании случайных книг, в накоплении случайных заметок. Отрывки из них, приводимые ниже, не име-

* Заметки переводчика I, Новый Журнал, XLIX (стр. 130-144), 1957.

ют никаких притязаний на какую-либо эрудицию и, может быть, содержат сведения, давно обнародованные неведомыми авторами мною невиданных статей. Пользуясь классической интонацией, могу только сказать: мне было забавно эти заметки собирать; кому-нибудь может быть забавно их прочесть.

Старик поправил свой парик (*уил*) и соседу своему в ребра дал тычка (*дил*). (Конец строфы XLIX, главы Седьмой, в «перевод» Бабетты Дейч):

Тычков и тумачков толмачи надавали русским писателям в досталь. Я сам когда-то (вспоминаю со стоном) пытался переводить Пушкина и Тютчева стихами с «раскрытием образов». Математически невозможно перевести Е. О. на какой-либо иностранный язык с сохранением схемы рифм. Оно неизбежно приводит к неточности, к пропуску и к припуску, к преступлению. С другой стороны, конечно, под прикрытием рифмованной парафразы перекладчику легче скрыть свое неточное понимание русского текста: простая проза выдала бы его невежество. Таким образом, не только кое-как пересказывается Пушкин, но кое-как пересказывается плохо понятый, приблизительный Пушкин. Трудно решить, какой из четырех наиболее известных переводов Е. О. на английский язык хуже — пожалуй все-таки безграмотные и вульгарные вирши Эльтона (1936, 1937). Глаже всех перевод Дейч-Ярмолинской (1936, 1943), но совершенно непонятно, каким образом изящная и даровитая американская поэтесса могла решиться разбавить Пушкина такой бездарной отсебятиной. Американский потребитель ее Е. О. узнает, например, что Онегин «был воспитан там, где текут серые воды старой Невы» (глава Первая, II), что он там «обедал, танцевал, фехтовал и ездил верхом» (IV), что он «давал классическому лавру узядать» (VI), и что, слушая его рассуждения о политической экономии, «его отец хмурился и стонал (VII). В театре Онегин (XXI) «со своим обычным алломбом поднимает монокль» и «замечает драгоценности, кружева и цвет лица красавиц». Он едет домой и потому находится «вне пределов досягаемости проклятий» (повидимому кучерских (XXII). И т. д., и т. д. Должен все же сказать, что как ни плох этот «перевод», он лучше чудовищных по нелепости иллюстраций, приложенных к нему в роскошном издании 1943 г. (с благоразумно ограниченным тиражем) неким Фрицем Эйхенбергом, далеко оставившим позади пресловутого Александра Нотбека.

Полу-смешных, полу-печальных:

Второстепенный шотландский поэт *James Beattie*, в письме от 22-го сентября 1766 г. (см биографию Битти, изданную Форбсом, т. 1, стр. 113, 2-ое изд., Эдинбург, 1807), рассказывает приятелю о начатой поэме (*The Minstrel*). Байрон в предисловии к первым двум песням «Чайльд Гарольда» (1812 г.), приводит из этого письма цитату, с которой Пушкин ознакомился по французскому переводу байроновской поэмы. Битти пишет, что он собирается дать волю воображению (цитирую дальше по 4-му изд. Пишотовского Байрона, т. 2, 1822 г.) *«en passant tour à tour du ton plaisant au pathétique, du descriptif au sentimental et du tendre au satirique, selon le caprice de mon humeur.»*

В Пушкинском посвящении Плетневу, написанном 29-го декабря 1827 г., слышны отзывы не только отсюда, но и из «Пиров» Баратынского, 1821 г., (252: «Собрание пламенных замет...») и из «Опытов» Батюшкова, 1817 г., (часть 2, «К Друзьям», 7-8: «Историю моих страстей, ума и сердца заблужденья»). Напомним, что именно Батюшкова нечаянно обидел тот же Плетнев (в скверной элегии, напечатанной в Воейковском «Сыне Отечества», № 8, 1821 г.) — из-за чего в свою очередь Плетнева нечаянно обидел Пушкин (в письме к болтуну-брату от 4-го сентября 1822 г.). Повинное посвящение (напечатанное в начале 1828-го года при издании Четвертой и Пятой глав Е. О.) весьма скоро перестало нравиться автору (оно и впрямь написано темно и вяло), но как несчастная тень продолжало появляться, бряцая цепями родительных падежей, в разных углах поэмы: оно перебралось в примечание 23 к первому полному изданию Е. О. (около 23 марта 1833 г.), а затем, уже без всякого упоминания Плетнева, приютилось на обеих сторонах четвертого нумерованного листа перед стр. 1 следующего издания (середина января 1837 г.). Корректуру, думается мне, правил сам Пушкин и правил ее с запозданием и раздражением. Найдя опечатку «Святой исполненной», он повидимому вписал краткий знак столь размахисто и неряшливо, что Илья Глазунов, приняв его за вычерк и смык, напечатал «Святоисполненной». В единственном виденном мной экземпляре этого редчайшего издания (№ 688 собр. Кильгура, *Houghton Library*, Гарвард) четвертый нумерованный лист с бродячей пьеской оказался вплетенным между страницами 204 и 205. Вот к каким зловключениям может привести стремление совместить дружбу с искусством.

Всегда я рад заметить разность:

Судя по черновикам, относящимся к зиме 1823 г., эпиграфами к Первой главе Пушкин собирался выставить стихи 252-253 из «Пиров», и довольно неожиданную английскую фразу, найденную им вероятно в альбоме кого-либо из его одесских друзей или приятельниц. Перевожу: «Ничто так не враждебно точности сужденья, как грубость распознаванья. Бёрк.» Мне удалось выяснить, что эта фраза находится в докладе, представленном Бёрком Вильяму Питту, в ноябре 1795 г.: в нем идет речь о ценах на зерно, о зарплате, о бобах и репе, и об огородных вредителях — интересовавших Пушкина еще меньше, чем новороссийская саранча.

Был глубокий эконом ... педант ... бранил Гомера:

Комментатор должен остерегаться слишком легких сопоставлений.

У Газлита в «*Table-Talk*» (1821-1822 гг.) сказано: «Человек-экономист, хорошо-с; но ... пускай он не навязывает другим своей педантической причуды ... Человек ... объявляет без предисловий и обиняков свое презрение к поэзии: значит ли это, что он гениальнее Гомера?»

Сомневаюсь, чтобы эта выдержка успела дойти во французском переводе до бессарабского изгнанника в 1823 г. По-английски в те годы он не читал вовсе — и сведения, шедшие от Чаадаева, что Пушкин, в 1818 г., желая учиться английскому языку, занял у него (еще неизданный) «*Table-Talk*», разумеется, вздор.

Комментатор должен радоваться сложным совпадениям.

Недремлющий брежет:

Дюпон, выпустивший в 1847 г. довольно удачный по дикции, но совершенно изуродованный разными промахами, прозаический французский перевод Е. О., делает забавную ошибку на своем же языке. Он пишет «*son bréquet*» и при этом поясняет в примечании, что «из уважения к тексту сохраняем это иностранное выражение, которое у нас почитается безвкусным; в Париже говорят: мои часы...» Дюпон, конечно, не прав. И Скриб, и Дюма, и другие парижане употребляли «мой брежет» совершенно так же как Пушкин. Но вот что мило: по-французски «брежет» не мужского рода — как думает Дюпон — а женского: «*ma bréquet*».

У того же эlegantного Дюпона находим: «Ленский с душою прямо Гётевской»; но зачем смеяться над давно опочившим

французским инженером путей сообщения, когда русский комментатор Бродский пишет (Е. О., Учпедгиз, 1950 г.), что боливар либерала Онегина «указывает на определенные общественные настроения его владельца, сочувствующего борьбе за независимость маленького народа в Южной Америке». Это то же самое как если бы мы стали утверждать, что американки носят головные платки («бабушки») из сочувствия Советскому Союзу.

Морозной пылью серебрится:

В 1819 г. первый снег выпал 5-го октября, а Нева замерзла спустя десять дней. Как хорошо повторение звука «бр» в третьем и четвертом стихах этой строфы! Бобровый воротник стоил Онегину не меньше двухсот рублей. Воротник украшал александровскую шинель. Шинель происходит от «*chenille*», бархатистой шелковой ткани. Правильный французский перевод «шинели» — *une karrick* (от *David Garrick*, знаменитого английского актера, 1717-1779). Вернувшись в Англию, это слово превратилось в *carrick*. Теперь мы по крайней мере можем точно перевести заглавие знаменитого гоголевского рассказа, а то все пальто да пальто.

Фобласа давний ученик:

Знаменитый и бездарный роман Жана Лувэ (*Louvet «de Couvray»*) состоит из следующих основных частей:

1787, Год из Жизни Кавалера Фобласа (5 частей)

1788, Шесть Недель из Жизни Кавалера Фобласа (8 частей)

1790, Окончание Любовных Походов Кавалера Фобласа (6 частей).

Все это перепечатывалось, удлинялось и сокращалось другими. Судя по списку книг, сообщенному Модзалевским (1910 г.), у Пушкина было парижское издание 1813 года («Жизнь Кавалера Ф.»), где присвоенная автором добавочная фамилия напечатана так: Купврэ (что значит «Режь Правду»).

Ни один из обманутых мужей в романе смысленностью не отличается. «Супруг лукавый» это тот супруг, который прочтя «Фобласа», кое-чему научился и ласкает поклонников жены, либо чтобы легче было за ними наблюдать, либо для прикрытия собственных шашен.

Вино кометы, *le vin de la comète*:

Эта безымянная, но дивная комета была впервые замечена Флоггером в городе Вивье 25-го марта 1811 г. Затем, спу-

ся пять месяцев, ее увидел Бувар в Париже. Астрономы петербургские наблюдали ее 6-го сентября 1811 года по новому стилю. Она грозно украшала небо до 17-го августа 1812 г. Москвичам она представлялась «звездой Наполеона».

Онегин полетел к театру:

Второй герой этой главы обгоняет первого (вот одна из пружин главы), и когда Онегин в строфе XXI входит в театральный зал, Пушкин уже там пребывал на протяжении целых трех строф (XVIII, XIX, XX), Пируэт Дуняши Истоминой Онегин пропустил — и только через пять лет с лишком, в феврале 1825 г., пробел некоторым образом заполняется: в строфе XXXV главы Восьмой Онегин, читая новую поэму приятеля, узнает и себя, и общих друзей (Каверина, Чаадаева, Катенина), и прелестную пантомимную балерину.

Клеопатра

Клеопатр было много. Еще в 1776 году, в «Послании к графу де Ванс», Пирон не мог припомнить всех, перевиданных им на парижской сцене. А среди них наверно была трагедия «Родогюн» Корнеля (1644 г.), которую автор не назвал «Клеопатра», только из боязни, как бы читатель не спутал его героини, сирийской царицы Клеопатры, с более очевидной египтянкой. Не знаю, давали ли когда-либо в Петербурге оперу «Клеопатра и Цезарь», сочиненную моим предком Грауном в 1742 г. (с итальянским либретто, основанным на ничтожнейшей «Смерти Помпея» того же Корнеля), или другую, очень известную когда-то, оперу «Смерть Клеопатры», произведение Насолини (1791 г.), или «Клеопатру» Мармонтеля, 1750 г. (на первом представлении этой трагедии в Париже публика присоединилась к свисту механической гадюки), или наконец «исторический балет Клеопатра», муз. Крейцера, поставленный впервые в Париже в 1809 г.; но во всяком случае, никакой «Клеопатры, трагедии Вольтера», упоминаемой Чижевским в его небрежных примечаниях к Е. О. (Гарвардское Университетское Изд-во, 1953 г., стр. 214), Онегин не мог опикать по той простой причине, что никакой «Клеопатры» Вольтер не писал.

Уединенный кабинет:

Случайно сохранились у меня, в коробке из под теннисных туфель, карточки с выписками из польских и немецких стихотворных «переводов» Е. О. Бездарный Бельмонт в 1902 г. и та-

лантливый Тувим в 1954 г. героически решили сохранить смену мужских и женских рифм, а так как для первых по-польски можно пользоваться только односложными словами, то дело свелось к совершенно фантастическим суррогатам. Так, *bronz* у Бельмонта рифмуется с чудовищным *ekstrakty kwiatow — fiolet, rons* (Первая гл., XXIV), а у Тувима, в том же месте какое-то *na tkanin tle* сочетается со *szkle*.

У немцев были повидимому другие затруднения. Доктор Липерт (1840 г.) к онегинским духам щедро прибавляет «тонкие мыла»; невероятный Боденштедт (в 1854 г.) загромождает туалетный стол Онегина золотом, губками, щетками для бороды и головы; а Вольф-Лупус (1899 г.) пополняет список «изящными несесерами».

Я помню море пред грозю:

Искать «прототипы» в личной жизни сочинителя, дело не только опасное, но и нелепое. Доцент или даже ординарный профессор, взявшись за него, распыляет свою ученость и не может ее заменить творческим воображением сочинителя. Как бы добросовестно кандидат ни лепил из архивной пыли историческое лицо, оно роковым образом будет отличаться от Галатеи поэта в той же мере как слог кандидата отличается от слога творца. Знаменательно, что именно беллетристы посредственные особенно охотно обращаются к истории, к биографии, точно они питают тайную надежду, что «жизнь» восполнит недостатки искусства. Истинный же сочинитель, как Пушкин или Толстой, выдумывает не только историю, но и историков.

Мария Раевская, выскочившая 30-го мая 1820 г. из дорожной кареты на морской берег между Самбеком и Таганрогом, вспоминала впоследствии волну, замочившую ей ножки и молчаливое присутствие Пушкина, вышедшего из другого экипажа — но ей было тогда не пятнадцать лет, как она замечает в своих до странности банальных и наивных «*Mémoires*» (Спб. 1904 г., стр. 19), а всего лишь тринадцать (она родилась 25-го декабря 1806 г.). Сопоставление шестнадцатой строфы «Путешествия Онегина», где автор возвращается мыслью к своему прибытию в Гурзуф (19-го августа 1820 г.), с теми черновиками стихотворения «Таврида» (1822 г.) в тетради № 2366, где на крымском фоне появляется в зачаточном виде тема строфы XXXII гл. Первой, убеждает меня, что если уж был Пушкин в кого-либо влюблен во время своего трехнедельного пребывания в Гурзуфе то в Катерину Раевскую, Китти (как ее

называла гувернантка *Miss Matten*), *Kitty R.*, тезку звезды *Kythereia*.

Около 10-го июня 1824 г., между приездом в Одессу из Москвы кн. Веры Вяземской (7-го июня) и отплытием на яхте из Одессы в Крым гр. Елизаветы Воронцовой (14-го июня), Пушкин и обе дамы гуляли по берегу, то приближаясь к набегаящим волнам, то отступая перед ними — все это по-французски Вяземская описывает в письме к мужу. Кн. Вяземской, своей конфидантке, Пушкин повидимому обещал описать волны, ложившиеся к ногам Элизы, в онегинской строфе. Я предполагаю, что придя домой, Пушкин отыскал тетрадь с «Тавридой» и тут же стал работать над стихами о пленительных ножках, вводя романтическую тему влюбленных волн и распределяя строки по схеме онегинских рифм. Дальнейшие события разрешившиеся в конце июля его отъездом в Михайловское, помешали вероятно стихам. Только в октябре 1824 г., в известном письме к Вяземской, где Пушкин, употребляя прозрачный шифр, поверяет наперснице свою тоску по Воронцовой («все, что напоминает мне море, печалит меня», фр.), поэт пишет: «...моя поэма не подвигается вперед; впрочем, вот строфа, которую я вам должен (*«que je vous dois»* — в смысле «которую я вам обещал», а не «которой я вам обязан», как переведено напр. в издании «А. С. Пушкин» 1949 г., томик десятый, под наблюдением таинственного Корчагина). Бесценный листок, приложенный к письму, пропал, но у меня нет сомнений относительно его содержания:

Ты помнишь море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам.

В заключение скажу: гипотеза, что стеклянный башмачок, был не влору Марии Раевской, а принадлежал ее сестре Катерине, от которой перешел к Елизавете Воронцовой, кажется весьма стройной, но вероятно может быть разрушена так же легко, как прежние замки из того же морского песку.

И брань, и саблю, и свинец:

Можно предположить, что в этой довольно туманной строке речь идет о каких-то петербургских дуэлях Онегина (как ясно сказано в варианте), а не просто об упражнениях в фехтовании и пистолетной стрельбе. Но при чем все-таки «брань»?

Кстати: не знаю, известно ли нашим пушкинистам, что поэт в конце двадцатых или начале тридцатых годов занимался фехтованием со знаменитым преподавателем этого искусства, французом *Augustin Grisier* (см. любопытную биографическую заметку, приложенную к труду Гризье «*Les Armes et le Duel*» Париж, 1847 г.).

Сплин:

Это «английское» слово Пушкин нашел у французских писателей, часто употреблявших его (напр. Парни, в первой части поэмы «Годдам», Ноябрь 1804 г., где «сплин» поставлен в один ряд с «*sanglant rost-beef*» — правописание, принятое и Пушкиным). Пушкин находил (1831 г., Лит. Газ. № 32), что «сплин» особенно отчетливо выражен Сент-Бёвом в его «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма», 1829 г., при чем совершенно непонятна похвала этому до смешного бездарному произведению со стороны нашего поэта столь хорошо (не в пример современникам) понимавшего пошлость Беранжэ и пресность Ламартина. В этом «Делорм» находится один из самых смехотворных образов во всей французской литературе: «Я вальсировал... обнимая мою красавицу влюбленной рукой... ее прекрасные груди были подвешены к моему содрогающемуся сердцу, как висящие с дерева плоды.» Как мог проницательный взгляд Пушкина не заметить этого гермафродита с анатомическим театром в выемке жилета?

Знакомые речи:

Прочитав первую главу «Онегина», Вяземский сообщил «на ушко» Александру Тургеневу, в письме от 22-го апреля 1825 г., что в «Чернеце» Козлова, третьестепенного стихотворца того времени, «больше чувства, больше мысли», чем у Пушкина; и в тот же день (литературные судьбы, приглашая на казнь, любят соблюдать порядок) третьестепенный стихотворец Языков писал брату, что, дескать, дай Бог, «Чернец» окажется лучше «Онегина».

Раскольников, герой «Бедных Людей»:

«Грандисон, герой Кларисы Гарлоу», преспокойно пишет Чижевский (упом. труд, стр. 230, перевожу с англ.) «известен матери только как прозвище московского унтер-офицера!» (сарджента). Особенно хорош этот восклицательный знак. К ошибкам в русском тексте Чижевского прибавились ошибки беспомощного перевода (следовало, конечно, либо сказать «эн-

син», либо объяснить удельный вес русских гвардейских чинов того времени). И далее: «Превращение» (продолжаю переводить) «старухи Лариной из чувствительной девы в строгую хозяйку было обычным явлением и для мужчин и для женщин в России.» Что значит этот бред?

Между прочим: всякий раз что вижу заглавие, приведенное выше, мгновенно вспоминаю (такова цепкость некоторых ассоциаций) мысль, выраженную тонким философом Григорием Ландау, (захваченным и замученным большевиками около 1940 г.) в его книге «Эпиграфы» (Берлин, около 1925 г.): «Пример тавтологии: бедные люди.»

Жатва поколений (Гл. вторая, XXXVIII):

Если не знать, что эта формула ничто иное как затасканная псевдо-классическая метафора французской риторики, *moisson, moisson funèbre, la mort qui moissonne*, то можно написать целый трактат о частом появлении этого образа у русских поэтов. Чижевский, по каким-то соображениям сопоставивший эту несчастную «жатву» с земледельческими образами в... «Слове о Полку Игореве», оказал медвежьёю услугу и так безупречной подлинности этого замечательного произведения.

Но, может быть, и это даже правдоподобнее сто раз:

Так начинается в черновике (тетрадь 2369, л. 41 об.) заключительная строфа, после XL, гл. Вторая. Первая строка этой строфы прекрасный пример гениального умения Пушкина извлекать аонический смысл из безголосых, подсобных слов, которые он заставляет петь полнозвучным хором. Этому приему как раз противоположен прием Гоголя, состоящий, наоборот, в окончательном снижении маловажных слов, до положения каких-то бледно-клепковых буквочек в бульоне (напр., при передаче товоново-качной речи Акакия), прием, впервые отмеченный Белым, и независимо описанный мной четверть века спустя в довольно поверхностной английской книжке о Гоголе (с невозможным, не моим, индексом), о которой так справедливо выразился однажды в классе старый приятель мой, профессор П.: «Ит из э фанни бук — перханс э литтел *ту* фанни.» Писал я ее, помнится, в горах Юты, в лыжной гостинице на высоте девяти тысяч футов, где единственными моими пособиями были толстый, распадающийся, допотопный том сочинений Гоголя, да монтаж Вересаева, да сугубо гоголевский бывший мэр соседней вымершей рудоконной деревни, да месиво

пестрых сведений, набранных мной Бог весть откуда во дни моей всеядной юности. Между прочим, вижу я, что в двух местах я зашел слишком далеко в стилизации «под Гоголя» (писателя волшебного, но мне совершенно чуждого), дав Пушкину афоризм и рассказ, которые Пушкин дал Дельвигу.

Вечный Жид:

Пушкинисты проявили много учености в поисках сочинения, названного так в строфе XII, г. Третья. По счастью они не набрали на «*The Wandering Jew*», 1819 г., благочинного Т. Кларка и на «*Ahasuerus the Wanderer*», 1823 г., драгунского капитана Т. Медуина (издавшего на следующий год свои сомнительные «Разговоры с Байроном»). Говорю «по счастью», потому что не о них думал Пушкин, а об общем месте модной фантазии, отразившейся и в «Чайльд Гарольде», и в «*Melmoth ou l'homme errant*», столь чтимой Пушкиным переделке J. Cohen'a (Париж, 1821 г.) романа «*Mathurin*»'а (вместо *Maturin*). Убожеством другого перевода, а именно уже упомянутого комментария Чижевского, на английский язык вероятно объясняется то, что эпитет в термине «Вечный Жид» (персонаж, выдуманный немцами) неправильно дан, как «*Eternal*». Меня, впрочем, заинтересовало другое: Что такое, собственно говоря, столь внушительно приводимые на стр. 239 «пьеса L. Ch. Chaignet, 1812» и «роман R. de Cornéliano»? Обратившись к индексу узнаем, что первый был, по мнению проф. Чижевского, французским поэтом, написавшим «Этерналь Джю», а второй — *Rossa de Cornéliano* — был тоже французским поэтом, тоже написавшим «Этерналь Джю». Несколько минут в библиотеке, уделенных проверке этих интересных утверждений, было довольно чтобы убедиться в иллюзорности этих лиц и произведений. Мосье Л. Ш. Шэнье вообще не существует (подозреваю, что он слутан с братом Андрэ Шенье), однако можно предположить, что где-то, когда-то, переходя из одной компиляции в другую (процесс, так сказать, стихийный), потерпел аварию французский драматург, *Louis Charles Caigniez* или *Caignez* (1762-1842 гг.) чья скверная мелодрама про «Иглуфа» («Я бегу», нем.), «*Le juif errant*», провалилась 7-го января 1812 г. в парижском Театре де ла Гэтэ. Другой призрак, «Рокка де Корнелиано», тоже странствует с давних пор (к проф. Чижевскому он пришел, думаю от д-ра Ледницкого, из примечаний последнего к изданию 1925 г. Бельмонтовского перевода Е. О.) Опять же, есть совершенно третье-

разрядный публицист, граф Карло Пасеро де Корнелиано, автор ничтожного трактата «*Histoire du juif errant par lui-même*» (Париж, 1820 г.). Повидимому где-то в своей блуждающей судьбе граф смешался с итальянским духовным лицом, *Nasalli Rocca di Corneliano*, чье биографическое бессмертие зиждется на заглавии (без даты) инвентаря, относящегося к имуществу какого-то кардинала, в Британском Музее. Но чем больше ссылок, тем авторитетнее работа, и я не сомневаюсь, что весело подпирая друг друга, два известных французских лирика, Людовик Шэньэ и Рокка, переберутся из комментария проф. Чижевского в следующий ученый труд.

Перекладные просвещения:

У английского переводчика Эльтона, на именинном пиру у Лариных «девки» (*wenches*) удобно сидят на скамьях (*benches*), а затем (перевожу обратно строфу II, гл. Шестая): «В гостиной слышно было, как сопел тяжеловесный Пустяков, имея общение со своей тяжеловесной половиной».

И вот сосед велеречивый (Шестая, XII):

Не знаю, предполагал ли когда-либо Пушкин позволить двоюродному брату своему Буянову быть секундантом Ленского (допустил же он, чтобы этот нечистоплотный шут сватался к Татьяне), но в Зарецком несомненно есть что-то от Опасного Соседа и от его интонации в речи, произнесенной в публичном доме: «Ни с места, продолжал сосед велеречивый».

Для проходящих:

Мармонтель в «*Essai sur le bonheur*» (1787 г.) говорит о грустном ответе некоего монаха тем, кто восторгался красотой дикой местности в соседстве его кельи: «*Oui, cela est beau pour les passans, transeuntibus*». Дмитриев воспользовался этим уже избитым выражением для плохой басни (ч. 3, кн. 2, VII, изд. 1818 г.), Вяземский сделал из него каламбур в плохом же стихотворении «Станция» (альманах «Подснежник», 4-го апреля 1829 г.), а Пушкин, из соображений дружбы, привел выдержку отсюда в примечании к строфе XXXIV, гл. Седьмая. Остроумный писатель *Tallemant des Réaux* (1619-1692 гг.) приводит ту же реплику в своих анекдотах (т. 7, № 108, где «проходящий» — Генрих IV), но эти «*Historiettes*» вышли (посмертным изданием, под редакцией *Monmerqué*) только в конце 1833 г., так что Дмитриев и Вяземский никак не могли Таллемана знать, когда сочиняли вышеупомянутые стишки. Го-

ворю это дабы чем-нибудь пособить несчастным студентам, пользующимся весьма ученым на вид (для проходящих) комментарием Чижевского, где на стр. 278 в объяснении пушкинского примечания 42 не только не понятен смысл фразы, но и самое имя автора «Историек» искажено в трех местах. Тут незачем разбирать по пунктам бесконечное количество курьезов и ошибок в «Комментарии», но приходится отметить следующее. Все украшает этот странный труд — непроверенные заимствования у других компиляторов дикие ошибки во французском языке, исковерканные до неузнаваемости имена и заглавия, неправильные даты, нелепые предположения, устаревшие толкования, восторженные упоминания каких-то чешских, польских, а главное немецких трудов, никакого отношения к пониманию Е. О. не имеющих.

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблюсь, входит Лалла-Рук....:

Так начинается строфа, которая, повидимому, должна была следовать за XXX в гл. Восьмой. Историк скажет, что Пушкину была известна пригорная и бесконечно скучная поэма Мура («*Lalla Rookh*», 1817 г.) по серому французскому переводу в прозе Амедея Пишо («*Lalla Roukh ou la Princesse Mogole*», 1820 г.), что Жуковский воспел под этим именем свою ученицу, когда в январе 1821 г. в Берлине, Александра и «Алирис» (будущий Николай I) участвовали в фестивалях, описанных в особом альбоме («*Lallah Roukh, divertissement mêlé de chants et de danses*», Berlin, 1822); и что, помимо цензурных соображений (Онегин русской государыне предпочитает Татьяну), Пушкина остановил анахронизм (он думает о впечатлениях 1827-1829 гг., а время действия главы Восьмой, до строфы XXXIV, не позже начала ноября 1824 г.). Словесник скажет, что эти божественные стихи превосходят по образности и музыке все в «Онегине», кроме разве некоторых других пропущенных или недописанных строф; что это дыхание, это равновесие, это воздушное колебание медлительной лилии и ее газовых крыл отмечены в смысле стиля тем сочетанием сложности и легкости, к которому только восемьдесят лет спустя приблизился Блок на поприще четырехстопного ямба; что восхитительно соединяются и смысл и смычок посредством красочных аллитераций: «в зале яркой», «круг», «лилии крылатой», и на-

конец «Лалла Рух» — этим заключительным ударом музыкальной фразы собираются и разрешаются предшествующие созвучия.

Так скажут историк и словесник; но что может сказать бедный переводчик? «Симилар ту э уингед лили, балансинг өнтерс Лалла Рух»? Все потеряно, все сорвано, все цветы и сережки лежат в лужах — и я бы никогда не пустился в этот тусклый путь, если бы не был уверен, что внимательному чужеземцу всю солнечную сторону текста можно подробно объяснить в тысяча и одном примечании.

НИКОЛАЙ УЛЬЯНОВ

МЫСЛИ О П. Я. ЧААДАЕВЕ

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес.

Пушкин

По безмерному честолюбию, он, говорят, не спешил рассеивать заблуждения современников, и не без наслаждения вдыхал фимиам курившийся не ему, но имени брутову. Он молча принимал поклонения молодых западников — Грановского, Павлова, Кетчера, Герцена, Огарева, видевших в нем пророка свободы и смелого протестанта против реакции.

Нет большего самозванства в истории русской мысли.

Смягчающим вину обстоятельством может служить, только, поведение общества. Всем так хотелось ревизора «а подать сюда Ляпкина Тяпкина!» — и явился гениальный Хлестаков, в которого поверили не один городничий и Амос Федорович, но также, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник. Виной всему, конечно, Надеждин, напечатавший, чуть ли не без ведома автора его «философическое письмо» в «Телескопе». Это он возвестил о появлении загадочной фигуры в партикулярном платье, — «ходит эдак по комнате и в лице эдакое рассуждение». И общество и правительство сразу догадались, что это и есть *тот*, приехавший ревизовать Россию. Правительство поспешило официально объявить его сумасшедшим, славянофилы и уваровцы стали точить ножи, а в салонах и в англиском клубе началось языческое ему поклонение. Развязка была непохожей на гоголевскую. Не нашлось почтмейстера, который бы распечатал семь остальных, неизвестных тогда, «философических писем» и обнаружил бы, что это вовсе не Брут и не Периклес, а так просто... «ни то ни се». Он не уехал на тройке, по совету осторожного Осипа, но долго крутил головы московским Анне Андреевне и Марье Антоновне. «Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него».

Россию он ревизовал строго. Не то что там, «в судах черна неправдой черной», но весь наш исторический путь объявлялся неправдой. «Мы никогда не шли об руку с прочими народами, мы не принадлежали ни к одному из великих семейств человеческого ро-

да», «у нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса», «мы принадлежим к числу тех наций, которые, как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». «Мы хоть и носили имя христиан, не двигались с места... плод христианства для нас не созрел». Не только идей долга, справедливости и порядка не выработалось у нас, но и простой благоустроенной жизни, «в своих домах мы, как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками». В прошлом у нас — «дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть». Мы равнодушны к добру и злу, к истине и ко лжи, «ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины», «в нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу», «мы составляем пробел в нравственном миропорядке». Строки эти «потрясли всю мыслящую Россию».

Целое столетие не прекращался восторженный шопот Добчинских и Бобчинских: — Вот это, Петр Иванович, человек! С Пушкиным на дружеской ноге, с декабристами компанию водил, год просидел дома под арестом, «Телескоп» из-за него закрыли и Надеждина сослали, а Россию то как аттестовал!

Этот шопот сделал ему карьеру и при большевиках. Он у них стал ходить в «дворянских просветителях», в борцах с самодержавием и крепостным правом. Подтверждение такой высокой роли нашли в одном из неизвестных дотоле пяти «философических писем» опубликованных в 1955 г.:¹ «Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем мы все гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели...» Смак, с которым В. Асмус цитирует в предисловии к «письмам» эти строки и печатает их разрядкой, придает публикации 1935 г. характер документа сталинской эпохи.

¹ «Литературное Наследство» № 22-24, 1935.

Для времен второй пятилетки и кануна ежовщины, цитата подобрана с большим вкусом².

Но смысл ее заключается, также, в подыскании оправдания самого факта издания чаадаевского наследства. То ведь было время перенесения в пантеон социалистической культуры останков всех мало мальски «созвучных» знаменитостей прошлого. Фраза о рабстве послужила доказательством заслуг. Найдя ее, можно было не обращать внимания на все остальные рассуждения «Периклеса». Так он и остался воплощением добродетелей Афин и Рима, воссиявших в Москве на Новой Басманной.

**
*

Его приняли таким, каким преподнес Герцен — основоположник житий революционных святых. Герцен был в вятской ссылке, когда появилось первое «философическое письмо». Он его прочел несколько раз сряду и впал в состояние близкое к истерии. «Я боялся не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «письмо» Видбергу, потом Скворцову, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе». Попав через некоторое время в Москву и встретившись с автором поразившего его произведения, Герцен уже не мог смотреть на него иначе, чем взором влюбленной барышни. Отсюда эти замечательные открытия: «эдак пишут только люди долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие».

Из критиков, так никто и не задался вопросом, — что же особенно испытал обитатель тихого флигеля в доме Левашовой? В наши дни, можно только позавидовать благодати полного отсутствия житейских потрясений, излившейся на философа. Не считать же потрясением просмотр бумаг и допрос на границе, по возвращении из поездки в Европу. Даже знаменитая отставка, в которой усматривали что то вроде «испытания», оказалась без всякой драматической подкладки. Он ушел с военной службы, как раз, для того, чтобы иметь возможность думать и ничего не испытывать. Никакими бурями не ознаменовано и знакомство с декабристами. «Все это были разгвооры между лафитом и клико»... Ни масоны, ни тайные общества, не оставили на этой душе зарубок, способных превратиться в раны.

Единственным крупным событием был домашний обыск и вынужденное затворничество в течение года, когда приходилось тер-

² Особенно значителен конец ее: «Где человек столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собой, постоянно думая одно и поступая по другому, он не опротивел самому себе?»

петь ежедневные визиты полицейского врача, обязанного являться к «сумасшедшему». Но это было уже после написания «философических писем» и это не шло в сравнение со ссылкой Надеждина в далекий Устьсыольск. За свое «сумасшествие» Чаадаев был, надо думать, по гроб благодарен Бенкендорфу и, может быть, ставил за него свечки у Николая на Арбате. Всею славой у современников и у потомков обязан он этому году попечения властей. Вот, разве, что денег Бруту всегда не хватало; карета и лошади стоили дорого. Но не это определяло его историософию и не то имел в виду Герцен, когда утверждал: «жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда». Если жизнью барчука перешедшего из под крыла заботливой тетки в университет, в гусарский полк, в адъютанты кн. Васильчикова, с возможностью сделаться адъютантом самого государя, можно было дойти «до такого взгляда», то как Россия не наполнилась страшными революционерами, еще, со времен Екатерины?

Никогда никакой жизни, этот рано облысевший безполый юноша, не знал, и видимо, гордился «царственным презрением к эмпирической действительности». Оно, это презрение, начинало уже входить в моду среди молодежи тех дней. Приближался разлив чувствительного идеализма 30-х годов, с полным неразличением поэзии от повседневной жизни, с глубоким убеждением, что образ Теклы списан с живой модели. Предъявлялись к жизни строгие требования, в каждой девушке хотели видеть Теклу, и жестоко роптали на мир в случае его несходства с идеалом. Выработывалось что то вроде ордена непримиримых борцов с действительностью, приносились клятвы «не сдаваться» ей, создавались свои собственные Фиваиды, и молодые люди замыкались в них, как отшельники³. В П. Я. Чаадаеве надо видеть предтечу юношества 30-х годов. Мир эмпирический «призрачный», считается у него недостойным обиталищем высокого ума. Жил он в «истинном» мире идей, и если до чего-нибудь «дошел», то только умозрительным путем.

«Мыслящую Россию», падкую на всякое обличительство, не трудно было купить популярной в те времена декламацией о раб-

³ Вот признание В. С. Печерина: «Я стал в прямой разрез с вещественной жизнью, меня окружавшею; я начал вести жизнь аскетическую; я питался хлебом и оливками, а ночью у меня были видения. Всякий вечер звезда гораздо более блестящая, чем все прочие, останавливалась перед моим окном, насупротив моей кровати, и лучи ее ласкали мое лицо. Я вскоре догадался, что это та самая звезда, под которой я родился».

Состояние подобное этому испытывал и П. Я. Чаадаев.

стве, но трезвый иностранец Шарль Кене, написавший обстоятельную книгу о Чаадаеве⁴, никак не может понять необходимости разбиваться о проклятую действительность и дышать воздухом «составляемым» рабами, в такое время, когда сама императорская власть подбивала дворян на освобождение крепостных. Кене спокойно добрался до соответствующих материалов и установил, что «dvorovoi, obrok, tiaglo», то есть, «toutes les formes du servage russe» — составляли основу финансового благополучия Петра Яковлевича до конца его дней. Еще в 1823 г., в период своей близости к декабристам («души высокие порывы»), он ездил в «Лихачи» — свою наследственную деревню, и наблюдая там крепостных нашел, что «этим добрым людям» совсем не так уж плохо под заботливым управлением Михаила Яковлевича — его брата. Ни тогда, ни в 1855 г., за год до смерти, когда составлялось духовное завещание, он не пожелал освободить их и избавить себя от «стольких ужасов» заключенных в слове «раб»⁵. В наши дни, впрочем, легче понять поведение самого Чаадаева, чем слова Герцена о «выстраданном проклятии», которым Брут «мстил русской жизни». За кем только ни признавалось у нас это право на месть!

**
*

Что принимали его не за того кем он был, — начали догадываться лет пятьдесят тому назад. Особенно опасной для революционной репутации нашего мыслителя оказалась книга М. О. Гершензона. Но и Гершензон не решился посягнуть на вековую традицию, на «светоча», «соратника декабристов», одного поля ягоду с Герценом и Белинским. Гершензону, впрочем, известно было только три из восьми «философических писем». Теперь, когда опубликованы пять недостающих, и произведение, бывшее делом жизни Петра Яковлевича, предстало в цельном виде, — всякие сомнения относительно природы его философии отпадают. Невозможно возражать проф. о. В. В. Зеньковскому определившему ее, как «богословие культуры», и увидевшему в его религиозных переживаниях — ключ ко всем его взглядам. Неоригинальная, эклектическая философия его, представляет, в наши дни, чисто исторический интерес. Она

⁴ Charles Quénet — “Tchaadaev et les lettres philosophiques”, Paris, 1931.

⁵ Он пользовался самой жестокой статьей помещичьего права — сдачей крестьян в солдаты. Таким путем он поправил, однажды, свои денежные дела, выручив 9000 руб. от продажи новобранцев.

выглядит маленькой струйкой теряющейся в мощном потоке европейской религиозной литературы того времени⁶.

Судьба спасла ее творца от жалкого жребия выступить со своим произведением на Западе. Это позволило ему до конца дней красоваться в нимбе пророка, непризнанного в своем отечестве. Жаль, только, что он сам и русские его современники лишены были случая убедиться в глубоком провинциализме концепции, с высот которой выносились такие сокрушительные приговоры. Опубликованием литературного наследия, большевики сорвали с Чаадаева гарольдов плащ, накинутый на него Герценом. Ироническая улыбка, загадочное молчание, скрещенные на груди руки и язвительные реплики воспринимаются, ныне, тоже не без улыбки. Читая «философические письма, испытываешь чувство чего то своего, «родного». Объяснение находишь при взгляде на портрет, на тихо сияющие глаза, такие знакомые. Свидетельство Герцена устраняет сомнение в их цвете; они, конечно, серо-голубые⁷. Такие глаза водятся только в Москве, между Пречистенкой и Большой Никитской, — глаза познавшие истину, и с лаской и всепрощением глядящие на мир. Таким взором благословлял нас Андрей Белый. Кому было догадаться, что за этой умудренной, скорбящей голубизной кроется откровение, всего лишь, во Рудольфе Штейнере? Могли ли и москвичи тридцатых-сороковых годов, в лучистом взоре пророка англицкого клуба видеть не мировое и вечное, а только мудрость, обретенную за чтением Жозефа де Местра, Бональда, Балланша, Ламетри и Юнга Штиллинга? Чаадаев — предтеча тех наших философов, что вызывают подозрение в панибратских отношениях с Господом Богом, до такой степени много о нем знают и так смело говорят от его имени. «Он так восхотел»... Петр Яковлевич всегда в курсе идей и намерений Бога; он знает, например, почему Господь не выметет из пространства «этот мир возмутившихся тварей», или зачем он наделил их страшной силой, именуемой свободой.

Нет уверенности, что он не считал себя избранным сосудом высшего Промысла. В послесловии к письму седьмому, он ясно дает

⁶ Европа была наводнена сочинениями такого рода и в их массе тонули произведения гораздо более значительные, чем «философические письма». Так, польский философ Гоэне-Вронский, более крупный чем Чаадаев, живя и печатаясь в Париже, остался совершенно незамеченным. А его философия близка к чаадаевской. (См. Игумен Геннадий «Закон творения». 1956.)

⁷ «Серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически».

понять, что «имеет сообщить человечеству нечто важное». Этим и объясняет он французский язык своих «писем», полагая, что обращаться к человечеству можно только на общераспространенном языке. О каком то новом слове миру говорится и в письме к Пушкину. Там выражено намерение напечатать свое произведение за границей. Пушкин вряд ли догадывался, что речь тут шла не о простом философском или научном открытии, а о новом Евангелии.

Новый Завет Чаадаев считал устаревшим. Нельзя уже, по его мнению, искать наследие Христово в этих страницах, «которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу». Возникши, как книга своего времени, Евангелие не может быть ею для всех времен. Слово истины, понятное для той аудитории, к которой было обращено первоначально, не доходит до новых слушателей. «Когда Сын Божий говорил, что он пошлет людям духа или что он сам пребудет среди них вечно, неужели он помышлял об этой книге?... Мог ли он полагать, что эта книга увековечит его учение на земле?» С уверенностью посвященного в божественные тайны, Чаадаев отвечает: «Конечно не такова была его мысль». Под посланничеством духа Иисус разумел, по его мнению людей, что явятся после него и так вникнут в созерцание и изучение его совершенств, что составят с ним одно целое. Они то и будут из поколения в поколение передавать его мысль, все его существо. «Его божественный разум живет в людях, таких каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной церковью книге». В «таких каковы мы»... Отчего бы, значит, не гнездиться божественному разуму под голым черепом гусарского офицера в отставке? Как бы для того, чтобы устранить сомнения, он, в конце своего произведения восклицает: «Не должен ли раздаться в мире новый голос связанный с ходом истории!» Вот тут все и открывается. Голос связанный с ходом истории, — это и есть его «философические письма». Все вместе, они составляют историософскую систему возвещающую предвечный замысел лежащий в основе мирового исторического процесса. Они — новое священное писание.

Начав с утверждения никчемности России, ее неспособности родить хоть одну полезную мысль, кончил он тем, что превратил свой флигель на Новой Басманной в Назарет, несущий благовест всему миру.

**
*

Большевикам легче было объявить его «дворянским просветителем», чем примирить идею просвещения с упорным желанием доказать тщету научных дерзаний, не осененных благодатью гос-

подней, или с провозглашением христианских ученых единственными носителями этой благодати⁸. Ученый мир давно научился проходить мимо такого инквизиторского отношения к свободе исследования, к аналитическому и опытному знанию. Но как пройти мимо отрицания ценнейшего опыта современной исторической науки! После того, как Ренан потребовал, чтобы история имела свой собственный, независимый от какой бы то ни было философии метод, возраст ее приходится вести не от Вико, как делали одно время, а с XV столетия, от Лоренцо Валла, доказавшего подложность так называемого Константинова Дара — грамоты, удостоверявшей светскую власть папы. В этом открытии восторжествовала идея утверждения факта, как носителя исторической истины. Именно в этом надо видеть выделение истории из сонма изящных искусств и философских упражнений. Не на этом ли пути открыты целые миры — Египет, Ассирия, ахеменидская Персия, Хеттская культура? Да и весь исключительный расцвет исторического знания в XIX веке, не этим ли обусловлен?

Чаадаеву невыносимо засилье исследовательского начала, — ненужного, вредного, отвлекающего разум от тех «истинных поучений», которые он мог бы черпать из человеческого предания. Сколько бы ни накапливать фактов, они, по его мнению, никогда не приведут к полной достоверности. Достоверность «может дать нам лишь способ их группировки, понимания и распределения».

Только людям занимавшимся, когданибудь, историей в советских научных учреждениях, понятно злое значение этих слов. Да, мы хорошо знаем, что такое «группировка, понимание и распределение». Знакомы нам и «истинные поучения», до которых умеют низводить историческую науку. И нам так часто говорили, совсем чаадаевским языком: «к чему эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает тщеславная ученость?.. ни отыскивать связь времен, ни вечно работать над фактическим материалом — ни к чему не ведет». «Истории в наше время нечего делать, как размышлять».

⁸ Слабое развитие естествознания у греков и римлян объясняется прямым следствием их нехристианства. Идеи Галилея, Кеплера, Ньютона, тоже, не могли родиться в умах безбожных или скольконибудь равнодушных к религии. Вообще, прогресс естественных наук — вовсе не доказательство познавательных способностей ума. Ум ничего бы не достиг без соизволения свыше. Сам Бог «восхотел, чтобы человеческий разум открывал их самостоятельно и постепенно».

Это говорилось накануне появления Ранке, Моммзена, Фюстель де Куланжа, накануне открытий Шамполлиона, Раулинсона, Ботта и Лейарда. Как забавно было читать это в их великое время, и как страшно перечитывать сейчас. Ведь уже государственным путем готовятся кадры историков, в задачу которых входит не изучение истории, а только «размышление» над нею. Для них, как для Чаадаева, история не загадка, не тайна, а нечто познанное в своей сущности. Все непреложные законы истории открыты Марксом, и неизбежно ведут к коммунизму. У Чаадаева, человечество тоже идет к царству божью на земле, и задача историка — в созерцании божественной воли «властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям». О чем же и думать, как не об этих целях. История — не наука о прошлом, но провозглашение будущих пришествий и устиление одеждами пути грядущего.

Совершенно непонятно, как после опубликования кн. Гагариным в 1862 г., шестого и седьмого «философических писем»⁹, наша прогрессивная общественность не рассмотрела в них силуэт незабвенного попечителя казанского учебного округа? Только, вместо казенного мундира, предстал он в инквизиторской хламиде сотканной из импозантной философской прозы.

Это посерьезнее щедринского генерала, что въехал на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Сожженная гимназия становится бессмертной. Но какая бездна гибели уготована ей светом знания, возвещенным нашим философом! Он требует взирать на исторические события «не с хладным научным интересом, но с глубоким чувством нравственной правды».

За гладкостью языка, пожалуй, не сразу и заметишь дикий смысл этой фразы. Взирать на минувшее «с чувством нравственной правды», — всё равно что стать одним из героев водевиля, в котором почтенные буржуа передрались между собой, разделившись на две партии; одна стала горой за Юлия Цезаря, другая объявила его мерзавцем и взяла сторону Помпея. В согласии с таким учением, историк обязан участвовать в расправах прошлого. Ему, видимо, позволено, дойдя до Александра Македонского, и стулом об пол хватить. Пришел он не для истины, но чтобы судить и выносить приговоры. И уж конечно, судебный кодекс его основан не на равнодушии к правой вере. Это только немец Миллер, затесавшийся при Екатерине II в историографы, мог позволить себе святотатство ска-

⁹ В парижском издании кн. Гагарина они обозначены, как второе и третье.

завши: историк должен казаться без родины, без веры, без государства.

Чаадаев достаточно тонок, чтобы не восставать открыто против секуляризации науки, но вся цепь его заключений провозглашает полное возвращение системы знаний в лоно церкви. Что же касается истории, то для определения ее роли термина «наука» ему, просто, недостаточно. Она больше, чем наука, она — теургия. Поэтому и одиозен образ трудолюбивого историка исследователя. Вместо него должна возвышаться фигура жреца. История, ведь — развитие идей; всякий интерес, вплоть до грубо материального, порождается идеями; чем же, как не их созерцанием должно быть изучение истории? И можно ли, занимаясь историей, не служить Творцу, если воплощенные в человеческом обществе идеи, суть донесения божественной воли? Надо только отрешиться от распространенного понимания истории, как конгломерата событий и деятелей. Помпеи, Цезари, Карлы Великие и их подвиги не стоят никакого внимания. Не за чем распылять его, также, на всякие феодализмы, абсолютизмы, на революции, войны, государственные преобразования. Все это — простое следствие религиозных идей. История — воплощение христианства. И что же это за историк, что не будет вести себя христианином в веках, не осудит ни язычества, ни схизмы, ни ереси?

«Мыслящая Россия» дала важные против себя улики, обойдя молчанием содержание шестого «философического письма»¹⁰. Это самый страшный *Jungste Gericht*, какой только известен. В геенну сбрасывается ни больше, ни меньше, как весь античный мир. Греция объявлена «страной обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей остальной земле соблазны и ложь. Искусство ее — это извращение естественного и законного порядка — обожествление и возвеличение всего, что есть материального в человеке, всего, что должно занимать низшую сферу духовного его бытия. Оно апеллирует к самой изменной стороне нашей природы; нравственное чувство гибнет без остатка при его восприятии. «Периклес» призывает наложить «клеймо неизгладимого позора» на чело Гомера. Во всей древности нет более ненавистного имени, чем имя этого «Тифона или Аримана». Это от него заимствован наш «грязный идеал красоты», гибельные героические страсти, необузданная приверженность к земле. Его поэзия снисходительная к порокам нашей природы, сильнее всех оспаривает почву у христианской мысли. «Должен наступить день, когда имя преступного

¹⁰ В издании кн. Гагарина оно значит как второе.

обольстителя, столь ужасным образом способствовавшего разращению человеческой природы, будет вспоминаться не иначе, как с краской стыда». С затаенным дыханием ждет современный читатель приговора над последней, самой дорогой ему грешницей, однажды, осужденной Савонаролой. И конечно не питает надежды на ее помилование. На Новой Басманной твердо знают, что придут времена, «когда своего рода возврат к язычеству происшедший в пятнадцатом веке и очень неправильно названной возрождением науки будет возбуждать в новых народах лишь такое воспоминание, какое сохраняет человек вернувшийся на путь добра, о каком-нибудь сумасбродном и преступном увлечении своей юности».

Только после этих высказываний можно оценить эпитафию к первому «философическому письму»: *Adveniat regnum tuum.*

Без Гомера, без Фидия, без Платона и Марка Аврелия, без Боттичелли, Леонардо, Микель Анджелло, Данте, Петрарки, без всей европейской поэзии, живописи и музыки будет это «царствие твое».

Чье то старинное благочестие почитает на «философических письмах». Не ясная ли душа того монаха, что соскоблил эллинские тексты с двух тысяч пергаментов чтобы написать на них две тысячи евангелий?

Какие же ценности вознесены будут перед осужденными, опроверженными врсменами? Ответ не трудно предвидеть. Конечно, — средние века.

Их история, это и есть история «общества основанного на истине непосредственно исходящей от высшего разума». Мы дожили, кажется, до дней, когда такого рода фразы многим уже не режут уха, но лет пятьдесят тому назад было еще иначе. Нужно, действительно, пришествие нового средневековья, чтобы люди могли спокойно слушать, как восторг вызываемый античным искусством и искусством ренессанса, предается проклятию и причисляется к низменным движениям души.

Итак, средние века — самая значительная эпоха мировой истории. Но неужели, при всем презрении к историческим деятелям, нельзя назвать хоть одного, подлинно значительного? Такой деятель есть. Это Магомет. Это он был лицом «наиболее способствовавшим выполнению плана предначертанного божественной мудростью для спасения рода человеческого». Надобно знать узко сектантское восприятие христианства Чаадаевым, чтобы понять удивление читателя выбором героя. Но в этом то и сказывается сложность и завуалированность морально-политического склада Брута. В симпатиях к Магомету и к Моисею кроется такая черта его облика, пройдя мимо которой, мы рискуем ничего в этом облике не понять.

Покорен он не магометанством, самим по себе, но картиной его необычайной экспансии «на огромной части земного шара»¹¹. Исповедание, всего только родственное христианству, сделало своим победным шествием гораздо больше для торжества божественного Промысла, чем само христианство. Христианских мудрецов, неспособных «ни одно из своих измышлений облечь в плоть и кровь и ни в одно человеческое сердце вселить твердое убеждение», невозможно и сравнивать с Магометом. Наш автор считает их, просто, «бесполезными». Вчитавшись в восторженные строки посвященные восточному пророку, можно притти только к одному заключению: Чаадаев заморожен разящим мечем Ислама, как средством «вселения твердых убеждений» в человеческие сердца.

Среди фигур мировой истории, у него не значится ни ап. Павел, ни Петр, ни другой какой проповедник, чьим единственным оружием было слово и убеждение. Взор его ищет столпов подобных Магомету и находит в лице Моисея и Давида. В Библии он пленен «зрелищем необычайных средств» использованных для сохранения идеи единого Бога. Он называет «более непонятливой, чем безбожной» всякую философию, которая приходит в ужас от поголовных истреблений предписывающихся Моисеем, от собственноручного разрубания пророком Самуилом, беззащитных пленников «перед Господом», или от подвигов Давида, укладывавшего пленных на землю в ряд и измерявшего их веревкой: одна веревка на жизнь, две на смерть. Он видит величие Моисея не в том, чтобы явить миру образец правосудия или нравственного совершенства, но «чтобы внести в человеческий ум необъятную идею, которая не могла родиться в нем самостоятельно».

Здесь — самая пикантная часть чаадаевской историософии. Узнав о знаменитом петербургском наводнении 1824 г., Петр Яковлевич, в письмах к брату, мог по христиански сокрушаться о душах несчастных, погибших без покаяния. Но он тверд, как камень, когда речь идет об истреблении людей во имя высшей идеи, о внедрении ее в массы железом и кровью. Тут, оказываются, и правосудием можно пренебречь, и знаменитое «нравственное совершенство» забыть и отбросить. С грустью наблюдая удаление человечества от пути указанного Богом, он способен мечтать о грандиозной физи-

¹¹ Самое существенное свойство христианской религии, по Чаадаеву, «заключается в том, что она может облекаться в самые разнообразные формы религиозной мысли, способна даже комбинироваться, при случае, с заблуждением, чтобы достигнуть своего полного результата». Поэтому, и магометанство, для него — один из «окольных путей избранных Провидением».

ческой катастрофе, которая бы, прокатившись по всей земной поверхности, помогла нам «переродиться в духе откровения». Какой великолепный Торквемада пропал на Новой Басманной!

Не лучше ли гимназии быть сожженной щедринским генералом, приять венец вечный, чем уцелеть и получить себе в попечители такого «дворянского просветителя»?

Историческая наука приучила нас к спокойному восприятию библейских жестокостей. Ближний Восток полон всяких Нарамсинов, Саргонов, Сеннахерибов — величайших мучителей, рядом с которыми Давид и Моисей сразу теряют в масштабе. Но они вселяют безмерный ужас, как только Чаадаев, отвергая наше жалкое историческое мышление, заставляет видеть в них «дивные орудия в руке Провидения, доверенных всех его тайн». У нас к этим «дивным орудиям» свое собственное отношение, выработанное опытом. Нас, ведь, тоже клали на землю и измеряли веревкой. Знакомые с ролью свинца проходящего через затылок, в качестве проводника «необъятной идеи», мы лучше, пожалуй, чем современники Чаадаева, способны понять его историософию. Зато и страха перед идеями, царящими в веках и направляющими человечество по назначенному пути, у нас неизмеримо больше. Во всяком случае, пользуясь его же собственным критерием «нравственной оценки» исторических явлений, мы бы предпочли, чтобы человечество шло к своему «спасению», какнибудь иначе.

О чем же грустили серо-голубые глаза? О печальном ли значении слов «dvorogovoi», «obrok», «tiaglo», или о том, что в мире растет количество «возмутившихся тварей» и нет посланцев, вроде Моисея и Магомета, способных помочь человечеству в восприятии божественной идеи?

**
*

«Мыслящая Россия» сразу заметила и строго осудила реакционность Конст. Леонтьева, но оказалась необычайно милостивой к Чаадаеву. На его реакционность, просто, не обратили внимания¹².

¹² Один Р. В. Иванов-Разумник ощутил какое-то смутное беспокойство. В первое издание своей «Истории Русской Общественной Мысли» он не включил Чаадаева полагая, что ему «не могло быть места» в этой истории. Обратил он внимание и на его борьбу с позитивными теориями прогресса, в то время, как его собственное решение вопроса о прогрессе представлялось Иванову-Разумнику «типично шигалевским». Но опасения со временем прошли, и во втором издании книги Чаадаев был приобщен к истории русской общественности.

А между тем, что такое леонтьевское «подмораживание» в сравнении с царством Великого Инквизитора, с беспощадной идеократией, со стремлением к слиянию «всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или «церкви», которая должна водворить царство истины среди людей»!

За что прощено ему такое ультрамонтанство? Уж не за то ли, что реакционность его «западная», католическая, без малейшего упоминания о православии и самодержавии? Как ни странно, но именно это предположение многое объясняет. Уже Герцен подыскивал извинение католическим симпатиям Чаадаева, поговаривая о большей «тягучести» католичества в сравнении с православием, о «революционном католицизме», который ему привидился в учении Чаадаева. А когда, лет через пятьдесят, М. О. Гершензон употребил выражение «социальный мистицизм», — прогрессивная галерка, привыкшая падать ниц перед «социальным» и «революционным», была окончательно сражена. У нас всегда полагали, что на Западе и цари либеральнее, и полиция добрее, и реакция — не реакция. Там и церковь может сделаться «революционной». Допусти Чаадаев, хоть слово о какой-нибудь прогрессивной роли православия, он бы погиб безвозвратно, но о католичестве мог безнаказанно говорить дикие вещи, несовместимые с элементарным знанием истории. Откуда он, например, вычитал, будто «рабство» в Европе (он разумел крепостное право) обязано своим исчезновением западной церкви?¹³ Или, с какой стати приписываются ей все успехи цивилизации? Как будто вовсе не был затравлен Абельяр и не был сожжен Джордано Бруно, как будто Лютер не называл Коперника

¹³ Даже во времена Чаадаева было известно, что во Франции оно дожило до самой революции 1789 г., а в Австро-Венгрии и в Германии — до 1848 г. Пусть это было смягченное крепостничество, но официально, пало оно в результате революции и за каких-нибудь тринадцать лет до нашего. В падении его и в смягчении, церковь была абсолютна неповинна. Да и смягчение наступило не так уж рано. В Пруссии, например, только в 1794 г., в год рождения Чаадаева, упразднены были по Земскому Уложению (*Allgemeines Landrecht*), продажа, дарение, заклад крестьян и запрещение вступать им в браки. До тех пор, их проигрывали в карты и продавали не хуже, чем у нас. Барщина же в восточных королевствах и княжествах Германии была много жестче нашей. Немецкие исследователи — Кнапп, Гроссман, Грюнберг, рисуют картину «египетских казней» и жестокостей, которые, «даже турки и другие язычники»

дураком, а Галилей не стоял перед трибуналом инквизиции. А чего стоит мотив, подмеченный Гершензоном, явственно звучащий в «философических письмах», будто Запад, в поисках царства Божия *попутно* обрел и свободу и благосостояние! Что Чаадаев мог утверждать подобное, в этом нет ничего удивительного, но когда поколения позитивистов и материалистов, составлявшие так называемую русскую интеллигенцию, относятся к такому открытию снисходительно и всерьез — это материал для характеристики уже не Чаадаева, а самой этой интеллигенции.

Не только западничество семинаристов, пришедшее на смену западничеству Грановского и Герцена, но и сами Герцен с Грановским не в состоянии оказались понять, что в писаниях Чаадаева явлено не великое католичество Франциска и Бернарда, даже не католичество Григория VII, Лойолы и Филиппа II, а католичество Меттерниха и Карла X — полицейское католичество эпохи реставрации, так ненавидимое Стендалем и Виктором Гюго¹⁴. Прельщенная обличительными филиппиками, революционная и либеральная общественность не поняла также что «мстил» Чаадаев русской жизни не как человек европейского просвещения, а как католик. Ни наук, ни искусств, ни политических учений, ни декларации прав человека и гражданина, ничего кроме католичества для него не существовало на Западе. В многовековой вражде империи св. Петра с империями Павла и Андрея Первозванного — корень его высказываний о России¹⁵. Только этим и можно объяснить странный оборот мысли, возлагающий вину за крепостное право не на самодержавие и не позволяли себе. Не забудем, также, что добрую тысячу лет, монастыри владели крепостными.

Что же касается ужасающего рабства в колониях, то с какой церковной кафедры раздалось слово обличения этого преступления западного мира?

¹⁴ В русской литературе, кажется, один только П. Н. Милюков писал о «реакционном католичестве», воздействовавшем на Чаадаева.

¹⁵ Факт этой вражды, как важнейшей причины обособления двух миров, игнорируемый, обычно, русскими марксистами, был хорошо известен марксистам Запада. По словам Фр. Энгельса, римская церковь в средние века «несмотря на все внутренние войны, объединяла всю феодальную западную Европу в одно огромное политическое целое, которое находилось в противоречии, одинаково, как с греко-православным, так и с магометанским миром». Вот откуда противопоставление России не Франции, не Англии, не Германии, а всей Европе.

дворянство, а на церковь. «Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой». Причиной уродливости России считает он ту же церковь. Все началось с несчастного момента, когда «повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими (западными. *Н. У.*) народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания». Ему стало ясно, что если история наша жалка и ничтожна, если мы — последний из народов, если даже на лицах у нас — печать примитивизма и умственной незрелости, то причина этому одна — наше религиозное отступничество¹⁶. Аракчеев, Бенкендорф, крепостное право, — всё оттого, что мы не католики¹⁷.

Наконец, в записке гр. Бенкендорфу, где говорится об увлечении молодежи 20-х годов политическими идеями Запада, можно прочесть: «Я счастлив, что только разделял эти мысли, не пытаюсь, как они, осуществить их преступными путями, и не запятнал себя, как они, ужасным бунтом наложившим неизгладимое пятно на национальное достоинство».

¹⁶ «Несовершенство наших догматов... низвело нас в сонм народов коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства». Грех России в том, что она «не стремится к водворению царства Божия на земле».

¹⁷ Совершенной ложью надо признать канонизацию Чаадаева, как борца с царизмом. Ни в чем эта «борьба» не выражается. Зато выражений почтительного отношения к власти—сколько угодно. «Нет страны, где бы государи столько сделали для успеха просвещения и для блага народов, как в России; и всей нашей цивилизацией, всем что мы есть мы обязаны нашим монархам; везде правительства следовали импульсу, который им давали народы, и поныне следуют оному, между тем, как у нас правительство всегда шло впереди нации, и всякое движение вперед было его делом». Тоже и власть не усмотрела в нем своего врага, чем объясняется мягкая, сравнительно, репрессия наложенная на него после опубликования «философического письма». Третье Отделение, взявшее при обыске все восемь «писем», прекрасно в них разобралось. Что касается прокламации 1848 г., написанной языком ростопчинских афиш, найденной в бумагах Чаадаева, и приписанной ему, единственно, на том основании, что она переписана его рукой, то это — обычный вульгарный большевистский прием расширения своих святцев.

Пора покончить, также, с легендой о его декабризме. Можно

**
*

Увлечение Западом началось у нас давно. В XVII веке, молодой Ордин-Нащокин совершил побег в «страну святых чудес», но путешествуя, вернулся обратно. Не променяли Москвы на Париж и декабристы, ужаснувшись нашей отсталости. Ни они, ни Герцен не прониклись презрением к родной стране. «Обогащать Россию сокровищами гражданственности», — таков был их патриотический порыв. Совсем иную реакцию вызывало западничество религиозное.

Как только доходило до обращения в католичество, либо до преклонения перед ним, так явственно звучал мотив: «Как сладостно отчизну ненавидеть!»

Тысячелетний комплекс вражды латинства к православному миру не допускал компромисса. Едва ли не первым образцом, в этом роде, был кн. И. А. Хворостинин — современник и наперсник первого Лжедмитрия. В противоположность тем из людей XVII века, что понимали превосходство западного просвещения и хотели соответствующих реформ в России, он ни о каких реформах не думал, просто проникся брезгливостью к стране и народу, швырял в навоз православные иконы, смеялся над обрядами и обычаями и жаловался, что на Москве «жить не с кем». Между тем, это был человек, больше наглый и высокомерный, чем просвещенный. Он с поразительной легкостью усвоил тот «гордый взор иноплеменный», которым после него стали смотреть на Россию все неофиты латинства.

удивляться тому упорству, с которым проходили мимо отрицательной оценки декабристского движения, содержащейся в том же первом «письме». Указав на то, как «великий государь (Александр I. Н. У.), приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой», Чаадаев с горечью констатирует, что «вернувшись из этого триумфального шествия через просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад». И дальше следует резюме: «В нашей крови есть нечто враждебное истинному прогрессу». Встречается в том же знаменитом «письме» совершенно презрительная оценка декабристского движения: «И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня».

Когда начались католические симпатии его духовного потомка Чаадаева — трудно сказать. Может быть, в ранней юности, при запойном чтении философской литературы, может быть в 1816–18 гг., в ложе «Соединенных Друзей», управлявшейся ген. Прево де Люминаром и полк. Оде де Сионом, где состояло, также, несколько лиц из польской аристократии, или в ложе «Северных Друзей» (1818–19 гг.) связанной с польскими ложами в Вильно. Okрепли эти симпатии, безусловно, в 1823–26 гг. во время путешествия по Европе. Утвердившись окончательно в мысли о римской церкви, как единственном обиталище божием, а о народах Запада, как избранных составляющих то «общество», где идея, которую Бог открыл людям должна созреть и достигнуть всей своей полноты, он уже не мог не видеть печати божественного на каждом камне мира освещенного католическим солнцем. То был род гордыни человека, вознесшегося на захватывающие дух религиозные высоты. Именно тогда, наблюдавший его в Берне Свербеев, отметил его презрение ко всему русскому. Но и в этом презрении он не был оригинален.

Кто даст себе труд сравнить чаадаевское «j'accuse» со всей суммой накопившихся в Европе веками, суждений о России, тот поразится их необычайному сходству. Это, как бы экстракт из политических памфлетов, подложных документов, записок авантюристов вроде Штадена, Таубе и Крузе, донесений Шлихтинга, реляций Поссевина, богословско-полемических споров времен католического наступления на Русь в XVI–XVII вв., из сочинений вроде «Истории Владислава IV-го» Вассенберга, из-за которых возникали дипломатические осложнения; Москва снаряжала специальные посольства в Варшаву, требуя сожжения «безчестных книг» и сурового наказания их авторов. Как эти, так и другие, специально ватиканские источники, способствовали выработке, на Западе, своего рода, политграмоты, в отношении России. С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатщину, вражду к культурному миру и на последнее место, которое занимает в человеческом роде презренный народ московитов. На начало 30-х гг. XIX в. падает небывалый взрыв русофобии в Европе, растущей с тех пор крещендо до самой эпохи франко-русского союза. Было бы неверно объяснять это одним подавлением польского восстания. Ненависть началась сразу после 1813 г. и вызывалась, как всегда, усилением русского могущества. Разгром польского восстания послужил предлогом для яркого и неприкрытого ее проявления. Из дневника Никитенко, записывавшего рассказы

возвращавшихся из заграницы профессоров, видно, что русским приходилось иногда скрывать свою национальность. Мальчик в швейцарской гостинице, прислуживавший за столом Печерину и его товарищам, не поверил, что они русские: «не может быть! Русские варвары, дикари, медведи!» А одна немка напала на Калмыкова, когда тот попытался защищать русских: «Это враги свободы! Это гнусные рабы!» — кричала она. С университетских кафедр раздавались речи о новом гуннском нашествии, о смертельной опасности для цивилизации.

Накопленная веками *Anti-Rossica* была, конечно, извлечена на свет и приумножена трудами, главным образом, польской поразительной литературы и публицистики.

Исследователям предстоит интересная задача, — проследить конкретные пути, какими эта «политграмма» вошла в умственный багаж Петра Яковлевича. Многое ему стало известно, надо думать, еще в России, остальное воспринято в годы путешествия. Но, что суждения его о России имели, как бы, протограф западного происхождения, в этом нет сомнения.

Восприятие враждебной доктрины облегчалось идеализмом Петра Яковлевича. Немногие из восторженных юношей попадавших за границу, сумели, подобно Герцену, понять, что «они нас ненавидят от страха». На большинство эта ненависть оказывала удручающее действие и подавляла настолько, что вызывала душевный кризис. В наиболее отчетливом и, так сказать, классическом виде, подобный кризис пережит был В. С. Печериным — самым чистым и самым экзальтированным из людей 30-х годов. Европейское «общественное мнение», просто, сломало его. Ведь ненависть к России так стройно и так непосредственно вытекала из всех идей и принципов романтизма усвоенных еще в студенческие годы. Можно ли было за границей противостоять сонму ученых профессоров, талантливых публицистов, писателей, очаровательных дам, блестящих ораторов и государственных деятелей? Тем более, что, как говорил Чаадаев, «мы естественно привыкли смотреть на наиболее совершенные правительства Европы, как на содержащие правила и начала всякого управления вообще». Чем было защититься от страшного образа России навеянного столь ослепительным миром, от которого бедный москвич давно был без ума?

Возвращаясь домой в 1835 г. Печерин чувствовал, что едет в логово зверя, в царство мирового деспотизма, в стан всеевропейской реакции. Уже подъезжая к границе, он «поднял глаза и увидел над нею зловещую надпись: «*Voi ch'intrate, lasciate, ogni speranza!*» Все остальное было последовательным развитием внутренней кол-

лизии. То, ведь, была душа возросшая на идее «человечества». Не конкретного, не эмпирического, а человечества «по Шиллеру».

Что выше, — Россия или человечество? М. О. Гершензон прекрасно проследил эту несложную, беспощадную логику: жить в крепостном бюрократическом аду — не самое страшное испытание; страшнее мысль, что через Россию весь мир погибнет. Вот откуда это:

«И в разрушени отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья.

Зачитанные, задекламированные в революционном подполье, стихи эти, ныне, сошли незаметно с эстрады. Слишком уж ясно стало, какая «денница» встает после действительного разрушения нашей отчизны, и чего стоит то «человечество», во имя которого убили Россию. Поздним раскаянием сознанием попусту загубленной жизни и одинокой смертью на чужбине заплатил Печерин за «мечты» своей юности. Его судьба типична для многих.

П. Я. Чаадаев не долго, всего несколько лет, находился под гипнозом Запада, да и гипноз его был несколько иной. Можно думать, что к 1830-31 г. его взгляд на Россию, особенно на ее будущее, был не тот, что изложен в «философическом письме». Но в момент его написания, Россия была *paus maudit* ненавидимая вполне по печерински. И душевное состояние его в тот момент было близко к печеринскому. Позднее, он называл его «Фивайдой». Не исключена возможность, что ему, как Печерину, были видения по ночам и голос Бога говорил: «Что ты тут делаешь? Здесь нет будущности! Встань! Покинь страну своих отцов!» Из письма к гр. Строгонову знаем, что писал он свое произведение «под впечатлением тягостного чувства».

Но было и другое чувство. Его умел скрывать прекрасно владевший собой Чаадаев, но у откровенного Печерина оно выражалось самым простодушным образом: «Слава! Волшебное слово! Небесный призрак для которого я распинаюсь! О, Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!»

До тла сожгу ваш... храм двуглавый,
И буду Герострат, но с большей славой!

Вскормленные Шиллером, повитые Шеллингом, мечтательные юноши, жаждавшие слияния с космосом и принесения жизней своих на алтарь человечества, были чудовищными честолюбцами. Характеристика Чаадаева, составленная Третьим Отделением, содержит

указание и на его бездонное честолюбие. Разве не должны были «философические письма» составить новую эру в развитии человечества? Печаль его серо-голубых глаз означала печаль апостола, принесшего миру небывалое слово, но увидевшего себя в варварской стране. Это чисто русская драма — особый жанр возникший из превращения шиллеровской высокой трагедии в комедию Гоголя: «Я не могу погубить свою жизнь с мужиками! Душа моя жаждет просвещения!» В восемнадцатом веке ее переживал фонвизинский Иванушка из комедии «Бригадир». Тот тоже имел несчастье родиться телом в России, в то время, как душа его принадлежала короне французской.

Чаадаев, безусловно, ощутил родную землю, как недостойную его гения. Как крепостной мальчишка научившийся в помещичьем доме болтать по-французски с барчатами, он устыдился своего происхождения и своих родителей, — презрел и возненавидел самую душу России выраженную в ее истории. С бойкостью и хлесткостью вынес приговор одной из самых многострадальных историй. В ней он увидел не трагическую судьбу, а род преступления. Как тут не вспомнить Пушкина, принимавшего всю русскую историю такой какова она есть!¹⁸ А ведь он знал, что многое из того, что говорили про нас в Европе — сущая правда. Но то была правда вражеского стана, меньше всего имевшая в виду исправление наших пороков и заблуждений. Поэт угадывал за этой частичной правдой величайшую неправду, — старинное зло отравлявшее истину и несовместимое с нею. Он и сам был человеком большого гнева во всем, что касалось грехов России, но твердо знал границы такого гнева. Они определялись границами любви. Там где начиналась ненависть или равнодушие, — кончался русский и начинался иностранец. Честный Печерин так и понял свои чувства. Чаадаев, хоть и опомнился быстро, и не перестал быть русским, — в писаниях своих перешел, безусловно, роковую границу. Те девяносто девять процентов читателей, что произведений Чаадаева в руках не держали, а судят о них по скудным цитатам в курсах истории литературы, где им преподнесен образ благородного страдальца распятого на кресте русского варварства, реакции и отсталости, должны, наконец знать, что страдания его ничего общего с болью за родину, испытанной Радищевым, Рылеевым, Герценом, Белинским не имеют. Самая мишень его обличительных стрел, совсем не та., что у них. К позорно-

¹⁸ По мнению В. Ф. Ходасевича, между Пушкиным и Чаадаевым вовсе не было той близости, которую им, обычно, приписывают. См. «Звено» 6 июня 1926 г.

му столбу пригвождалась не власть, не бюрократия, не произвол, — не временное и изменчивое, следовательно, доступное преобразованию, а вечное и неизменное — наша национальная, так сказать, субстанция. О каком преображении мог он думать, если в крови у нас видел вражду ко всякому истинному прогрессу? Недаром он ссылается на тот случай, когда великий человек, захотев просветить нас, кинул нам плащ цивилизации». «Мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения»¹⁹. Да и могло ли быть иначе, если само Провидение «исключило нас из своего благодетельного действия на человеческий разум... не пожелало ничему нас научить»? Мы прокляты небом, отнесены к разряду лапландцев, готтентотов, абиссинцев, мы равнодушны к добру и злу, к истине и ко лжи, и «именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования». Россия ублюдочна от рождения, у нее нет будущего.

Если прав Бердяев, что ответственность за себя и ответственность за отечество имеет один и тот же моральный корень, то этого корня у Чаадаева не было.

**
*

И вот опять тот же вопрос: как могло произойти «чудовищное», по выражению М. О. Гершензона, заблуждение русской интеллигенции?

Конечно, ее попутал Герцен, написавший вместо портрета Чаадаева, свой собственный. Конечно, история с закрытием «Телескопа» и с объявлением Чаадаева сумасшедшим, отнесла, автоматически, Петра Яковлевича в разряд мучеников самодержавного произ-

¹⁹ Это, как раз то, что выражено в насмешливых стихах А. Мицкевича: (“Dziady”, III, “Przegląd wojska”):

Piotr zaprowadził bębny i bagnety,
Postawił turmy, urządził kadety,
Kazał na dworze tańczyć menuety,
I do towarzystw gwałtem wwiódł kobiety;
I na gronicach poosadzał strażę,
I łańcuchami pozamykał porty;
Utworzył senat, szpiegi, dygnitarze,
Odkupy wódek, czyny i paszporty;
Ogolił, umył i ustroił chłopca,
Dał mu broń w ręce, kieszeń narublował —
I zadziwiona krzyknęła Europa:
“Car Piotr Rosyją ucywilizował!”

вола. Это всегда означало у нас «борца с реакцией». Но все-таки, сто лет — срок не маленький, можно было кое в чем разобраться. Особенно после публикаций кн. Гагарина в 1862 г. Но разобраться, как раз, никто и не думал. Не хотели расставаться с образом печального рыцаря свободы, с иронической улыбкой, со скрещенными на груди руками, с колонной, с деревом на Тверском бульваре. Русская революция прочно зачислила его в сонм своих далеких предтеч и страстотерпцев. И это, не по одной, только, ошибке и недоразумению. Можно быть уверенным, что появись все восемь «философических писем» при жизни автора, это не изменило бы отношения к нему, как не изменилось оно у большевиков после публикации 1935 г. Не философией же его увлекались: ее никто не знал и знать не хотел, кроме, разве, специалистов. Популярность его зиждется на чем то другом, на каком то волшебном слове, которым он зачаровал «общественность». Теперь знаем, что то было слово ненависти к отчизне. Только это слово и вычитали у Чаадаева, только одним своим первым «философическим письмом» он и вошел в русскую литературу. Да и в этом письме читали не всякое лыко, что в строку писано. Видели, либо догадывались, что половина сказанного там о России — вздор и невежество, а другая половина имеет условную ценность. Привлекательный момент заключался не в объективной истине его суждений, а в том что стояло над суждениями — в страсти, в музыке отрицания и «гнева», в небывалой особенности этого гнева, направленного не на традиционных тиранов и угнетателей, а на Россию. Он первый вознес на нее хулу и только за это сам был вознесен.

Тут можно согласиться, что какая то «мистическая» связь с русской революцией у него существует. Это только на Западе «любовь к отечеству святая» написана была на революционных знаменах; там слово «Франция» могло означать республику. Русские революционеры никогда Россию во фригийском колпаке не представляли. Республика не могла быть «Россией». В глубине души, они соглашались с Уваровым, Катковым, Победоносцевым в том, что тогдашняя правительственная система, — это и есть Россия. Они собственноручно передали национальное представительство монархистам и черносотенцам, сделав их хранителями чести и имени России. Существовал неписанный догмат о несовместимости понятий «Россия» с понятием «прогресс» и «революция». В отличие от западных, наша революция, еще в раннем подполье, была не национальной! Она замешана на грехе матерубийства. «Пальнем ка пулей в святую Русь!» Этот лозунг звучал задолго до Октября. В орестейе русской революции, Чаадаеву принадлежит роль пролога.

ЮРИЙ ИВАСК

ФИЛОСОФ В ДУРАЦКОМ КОЛПАКЕ

(Владимир Филлимонов)

Первая треть прошлого столетия, как ее ни называть, пушкинской ли эпохой, золотым веком или ампиром, имеет очарование ни с чем несравнимое. Лицемерие Священного Союза и чугунный цензурный устав, аракчеевщина и шпицрутены — отвратительны; и ужасен провал энтузиастов 14-го декабря; но всё же мы с восхищенной завистью оглядываемся на эту незабвенную эпоху.

Истинное просвещение было уделом немногих, не всего русского дворянства, а лишь незначительной его части. Здесь декабристы и все им сочувствовавшие, здесь Пушкин и его читатели. Жить им было нелегко, они часто умирали рано, насильственной смертью, но все же они умели как-то сводить концы с концами. Паче всего они любили вольность, свободу, но любили и империю, которая их губила; ведь и крайние республиканцы готовы были, не задумываясь, защищать отечество и проливали за него кровь в 1812 году. А Пушкин, унижаемый двумя императорами, был (по известному определению Федотова) певцом империи и свободы: и Медного Всадника и вольности, которую он не уступал ни властям, ни народу (Пиндемонте). Большинство «ампирных людей» плохо верили в Бога, в бессмертие; но они не ломали голову над разрешением проклятых вопросов. Ни Достоевщиной, ни Толстовством, ни интеллигенщиной еще «не пахло», всё вообще было проще, яснее. Чуждаясь иллюзий, обманов, «ампирный человек» смотрел весело, не теряя присутствия духа. Утраченная мудрость той эпохи не заключается ли в двух заключительных строфах II-ой главы *Евгения Онегина*:

Покаместь упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью, друзья!
Её ничтожность разумею,
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды,
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда... (2, XXXIX)

Упоение жизнью можно расшифровать как «эпикурейство», а сознание ничтожности — как старческое «вольтерьянство» с примесью

юношеского байронизма... Но всё же были и *отдаленные надежды* — мерцал какой-то свет — недоступный Вольтеру или Байрону. Европейские моды Пушкина, конечно, не «исчерпывают».

Западное воспитание уже не было чем-то внешним, как в Осмнадцатом Веке; оно вошло в плоть и кровь и было даже более тонким, чем на Западе. У малого Батюшкова и у великого Пушкина неизмеримо больше вкуса, чем у их западного идола Байрона — тщеславного позёра, зачаровавшего всю континентальную Европу. Не было вкуса и у современных французских романтиков, например, у трескучего Гюго (но вкус был у «пред-романтиков» — у Шенье и Парни, первых вдохновителей и Батюшкова, и Пушкина). «Ампирные люди» зачастую были более европейцами, чем сами европейцы. В *Евгении Онегине* бездна вкуса по сравнению с растянутым *Дон Жуаном* и другими байроновскими поэмами, которые формально какое-то влияние на Пушкина оказали (скачущая фабула, лирические отступления). Но еще многое другое есть в *Евгении Онегине* — есть *вдох*, хотя бы в той же строфе II-й главы:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить...

Пушкин — русский европеец. Европа дала ему осёлок, мерило. Он «gentilhomme», «gentleman», светский человек; он мастер трудной онегинской строфы; и он же, русский человек «со вздохом»; и была у него память о стихиях — не романтических, вычитанных в книжках, а настоящих, подслушанных в русской мятели. Пушкина «обусловила» европейская дворянская Россия того времени, но любим мы его не за русское западничество, а за его сдержанный вздох, за снежные бури и, может быть, больше всего за Татьяну (которая «любила русскую зиму»). Любим еще за многое другое — за то, чего сами не понимаем и, кажется, никогда не поймем (разве что в середине 21-го века, когда по предсказанию Гоголя Россия будто бы дорастет до Пушкина).

Пушкин не был один; были и другие поэты, среди которых возвышается никем при жизни непонятный уединенный Боратынский, человек уже скорее 20-го века; был нежный Батюшков, — в какой-то мере Пушкина предопределивший; были Жуковский, Давыдов, Дельвиг, Языков и другие; были, наконец, умные читатели, писавшие иногда замечательные письма (мастера эпистолярной прозы). Такого «чувства слова», такого речевого слуха, вкуса, как в пушкинскую эпоху, никогда в России не было. Люди короткого серебряного века, как они ни старались, как ни «мастерили», всё же кажутся претенциозными по сравнению с людьми ампира. Поэты тогда рус-

скую грамматику знали плохо, им «думалось» по французски, но культура слова была высокой, разнообразной. Словесниками были и авторы проектов российской конституции, и Шишков, писавший царские манифесты, и творец законов Сперанский, и мастер проповеди Филарет.

Перед революцией была в России мода на всё ампирное, и на портики подмосковных, и на мебель со сфинксами, и на изящные шрифты. Ампи́р культивировали акмеисты, «Аполлон», «Старые годы». Ходасевич, ученый знаток той эпохи, использовал ампи́р в своей поэзии, и при этом обошелся без стилизации. Жил в ампи́ре даровитый поэт Георгий Маслов, воспевавший роковую красавицу Аврору Шернваль и рано погибший (в гражданскую войну). И интерес к ампи́ру — не ослабевает...¹

Если эта короткая и вынужденно-поверхностная попытка характеристики ампи́ра покажется преувеличенной и необоснованной, всё же остается бесспорным, что эта эпоха была значительной. И, следовательно, оправдано наше внимание к малым поэтам того времени. Среди них выделяю Владимира Филимонова, поэта несправедливо забытого и пренебрегаемого даже всеведущими пушкинистами.

Итак, в знак мирного привета,
Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком. (1828 г.)

Писал Пушкин Филимонову, пославшему ему свою поэму *Дурацкий Колпак*. Кто же этот мало кому ведомый поэт?

В юности, в 800-х и 10-х гг., Филимонов, повидимому подражал Карамзину в своей сентиментальной повести *Отрывки из романа Валерия и Алевтины* (1811 г.), а в ранних стихах пытался следовать Жуковскому, который его наставлял в поэзии. В 1805 г., когда ему было 18 лет, он опубликовал *Трактат о воспитании*. Он также автор трудов: *Система естественного права* (1811 г.) и *Рассуждение о науках правоведения* (1815 г.). Явно, юноша он был ученый, но первые его литературные опыты — слабые. Из известных мне ранних писаний Филимонова можно пожалуй выделить *Надгробную песнь Державину* (1816 г.). — «Державин — прах... Уныла лира...» (стих

¹ Помнится, в пору моего предреволюционного детства, когда я еще «ничего не понимал», — постоянно склоняемое взрослыми слово ампи́р смутно связывалось у меня с чем-то очень хорошим и даже съедобным — вроде торта от московского Сиу...

этот патетичный, но лаконичный и звучный). Модным романтизмом Филимонов никогда не увлекался и называл поэтов этой школы «супостатами» (ДК, V, 7). Его кумир (как и Батюшкова) — «Поэт для всех веков — Гораций», уединившийся в Сабинах, где он «тянул Фалерн свой из фиалов»² и день срывал свой на-лету» (О, 134 и 11). Близки были ему мотивы эпикурейские, анакреонтические, беззаботная веселость, но не слишком буйная, а горацциански-умеренная, в кругу друзей, в сельской тиши. Идеал этот ампириный; не этический, а эстетический. Еще не было проклятых вопросов, мучивших Гоголя, Лермонтова, предшественников Достоевского, Толстого... «Жить эстетически — искусство» (О, 53) — так обращается Филимонов к друзьям пиров; и с ними вместе хочется ему эстетически веселиться (ДК, II, 27). Ему чуждо: «И невещественное что-то, и неразгаданные сны» романтизма (ДКП, 16). Филимонов анти-романтик, скорее классик: «Я с неба Аттики на русский снег упал / Меж Фрейлин отставных и отставных Сержантов, / Смешной классический дурак» (ДК 1, 16). Он «нашел себя», обрел свой стиль сравнительно поздно, уже в 20-х гг., на четвертом десятке жизни и, может быть, под влиянием Пушкина, Боратынского — не «чистых» романтиков, но мастеров свободной «байронической поэмы». Какое-то влияние на него могло оказать и *Горе от Ума*. Его разностопные ямбы напоминают ямбы этой комедии, а также — басен и «эпистол» (посланий).

Настоящий полноценный Филимонов — это автор двух больших поэм: *Дурацкий Колпак* (1828-1838 гг.) и *Обед* (1837 г.). Фабулы в них нет. О любви говорится мало, но о дружбе много. Вообще же поэт там преимущественно болтает о том и о сем. Несколько заостряя тему, можно утверждать, что если бы не было *Евгения Онегина*, *Графа Нулина*, *Домика в Коломне*, а также *Пиров* Боратынского, то Филимонова не забыли бы! Пусть филимоновские поэмы слишком длинны, и к вину его поэзии примешано немало воды, всё же некоторые строки, строфы — звучат по пушкински и легко заучиваются наизусть. Умело составленная выборка могла бы вполне реабилитировать этого забытого поэта.

Во второй своей поэме Филимонов в очень «плавных» (приятно-звучащих) стихах заявляет: «Я славлю идеал Обед / И Философию вина...» (О, XII). Но остроумно снижая тему, он говорит не только о еде-питье; от обсуждения меню он легко переходит к более воз-

² И у Пушкина — «Златой Горациев фиал» (*Стансы*, 1818 г.).

вышенной застольной беседе: ведь обед его «гастрономическо-духовный» (О, 55). —

Нам родина, как вдохновенье,
Она одушевляет пир,
Прекрасное в соединенье —
Он точно вкратце целый мир:
В нем соль Афин и красноречье,
И роскошь древняя Римлян,
Вкус утонченный Галломан,
И русское чистосердечье.
Здесь всё поэзии цветы,
Порыв фантазии игривой
И философии счастливой
Горацианские мечты.
Вот как в доверии беспечном,
В разгуле чувств чистосердечном,
В порыве сердца и ума
Душа обедает сама! (О, 121)

Любителя поэзии не может не восхитить здесь волшебная игра пиррихий (пропущенных ударений в ямбе); и многие, улыбнувшись, запомнят стих — «Душа обедает сама!»... А весь этот отрывок отчасти характеризует всю ту эпоху, когда умели жить умно, весело и изредка лишь вздыхая... Как и в *Графе Нулине* забавные описания, наблюдения в *Обеде* вдруг прерываются звоном колокольчика и вздохом поэта:

Валдайский шибко загудил (!)
И покатилося вдаль мое *Высокородье*
На грусть, на слезы на невзгодье. (ДК III, 11)

Филимонов по собственному признанию знал «поэзию несчастья» (О, 38) и, как мы увидим, Фортуна часто была к нему неблагоприятна. Всё же основной мотив его творчества (как и у Батюшкова, Давыдова, Дельвига, Пушкина, Языкова) — *благодарность*; он восклицает: «Благодарю Творца за дар мне бытия» (ДК V, 5), — того Творца, в которого «ампирные люди» плохо верили, но иногда порывались Его благодарить! Никто еще не собирался *почтительнейше возвращать Ему билета* (как Иван Карамазов)! И пусть жизнь казалась иногда лишённой смысла (жизнь — «дар напрасный»), концы с концами как-то сводились и всюду света было больше, чем мрака.—

И пусть Фортуною ссажён в простые сани:
На барщине мирской тягло
Тяну сам-друг в глуши Рязани —
Оно вдвоем нетяжело,
Когда на сердце так светло.

Здесь та же атмосфера творческого счастья, что и в *Евгении Онегине* — счастья светлого, но не вечного, чуть затуманенного грустью и нарушаемого вздохами...

Как и Пушкин, Филимонов умело «балансирует» поэтическое с прозаическим. Под филимоновским утверждением: «И проза жизни не бедна» (ДК II, 19), мог бы расписаться Пушкин! В разностопных ямбах Филимонова эта не бедная проза богато представлена, как и в *Онегине*: в *Дурацком Колпаке* прославляется «и дым табашный, и чайный пар» (ДКШ, 9); там слышится «скрип телег и мельниц шум», там «сено косят» (ДК V, 8); словарь обеих его поэм — разнообразный. Описывая яства, Филимонов иногда забалтывается и явно уступает в «живописании» их Державину (*Жизнь Званская*) и Пушкину. В *Онегине* — незабвенный живой лимбургский сыр! А у Филимонова этот молочный продукт описывается скучновато: «Вот лимбургский стеклом покрытый» (О, 132). Но зато очень хорош «Иоганнисбергер золотой», который шлет нам «Рэин вдохновенный» (О, 118). Пушкинисты могли бы найти немало совпадений или заимствований у Филимонова; его дед, бригадир, под старость «бил хлопущкой мошек» (ДК I, 12), а дядя Онегина «мух давил». Филимонов-студент воображает себя Кесарем (ДК, I, 15), а у Пушкина: «Мы все глядим в Наполеоны». Очень по-пушкински звучат эти два стиха: «И на Неве, в денек морозный / с обеда скачущий судья» (у Пушкина: «Бег санок по Неве широкой», *Медный Всадник*). Наконец, известный стих в эпилоге *Онегина*: «Иных уж нет, а те далече», Пушкин приписал Саади, но не восходит ли он к александрийскому стиху молодого Филимонова: «Друзей иных уж нет; другие в отдаленье» (1814 г.)³.

Филимонов вообще «насквозь» литературен; как Пушкин в *Онегине* и, в особенности, в *Домике*, он любит обсуждать «технику»

³ Стих: «Трудиться — я готов, искать — не мастер» (ДК II 46) напоминает грибоедовское «служить бы рад, прислуживаться тошно». Имеются у Филимонова и сознательные аллюзии, напр., на Озерова: так, он дает перифразу его стихов: «Ты зри главу мою лишенную волос, / Их иссушила грусть и ветер их разнес» (*Эдип в Афинах* и ДКП, 53).

писания: почему, например, следует писать *щастье*, а не *счастье* (ДК, III, 32). В другом месте он задумывается о жизни; все судят о ней «розно»: на бале камергер, в Пекине — хан, в Палате — пер, байроновский Манфред «на выси грозной», судья, купец и «прачка с ношею белья»; далее он дает список метафор, обозначающих жизнь: это волны, буря, факелы горящие и потухшие, сорванные листья, сани, скользящие по стеклянному льду, скрипящие телеги (срв. с пушкинской *Телегой жизни*); чем это не тема для диссертации?!..⁴

Герой обеих поэм — сам автор, философ в дурацком колпаке, сибарит, гастроном. Видно, хотелось ему создать еще одного героя. Во II-ой части *Дурацкого Колпака* появляется лукавый искуситель в маске благомыслящего человека, поучающего поэта-мечтателя. Он не «Мефистофель новый»; Филимонов говорит, что всяких вообще чертей «оставим опере волшебной»; имя же этого рассудочного злого советника — Махиафель (Макиавелли!); он «всемирный человек», «космографическая смесь» (ДК, II). Всё это хорошо, но оживить или даже толком описать этого Махиафеля Филимонову не удалось. Но ему удалось многое: и отдельные стихи (Воспоминанье говорливо) и размышления или описания, например, Германии того времени: «О ты, Германия седая, / Где жизнь — Поэзия, Мечта / Горацианская, золотая / Умеренность и простота» (О, 29-30); наконец, Филимонову удалось воссоздать, воспроизвести самого себя.

⁴ Филимонов любит игру слов: *Остафьева* — *оставлю я*; *Державин* — бард *Державный*; *Еще нас Пленник не пленил* (Кавказский); Жуковский: *О тайнах сердца доноситель / Еще доноса на луну / Не подавал*; *И в Пестрой книге — пестрый мир*; *Судьба — сударыня...* (курсив всюду не мой! Сам автор свою игру слов подчеркивает!). Отмечу еще один прием, неожиданно предвосхищающий Северянина. Это прием обрусения русских слов предлогом «о»: огишпаненный (от Гишпания — Испания); офалернившись (испив фалернского вина); опрозю (!); офилософили и смех. Такие словосочетания сомнительны, но Филимонов ими пользовался забавы ради; претензий Северянина (с его «озкранен») у него не было. Хороши многие его рифмы (балом-алом); встречаются — и неточные; некоторые — удачны (тогдашних-башни), но имеются и неудачные (взгляд-бакенбард); так Филимонов (как позднее А. Толстой) уже пользуется «неправильными» рифмами, канонизированными в XX в. Немало в его поэмах и звуковых повторов: *И чайный пар*, и русский *пир*. Встречаются и «грозди» согласных: *В нем Грека — ум, Британца — спесь*).

Он: «Дворянский сын, — Студент, Москвич, Разнописатель, / Статистик, Романист, Философ и Певец, / И Правоведец и Мечтатель, / Смешного колпака нечаянный Творец» (ДК III, 8). У него: «Лицо широко, добрый взгляд, / Две губы очень небольшие, / Большая пара бакенбард, / Глаза не знаю я какие... / Зеленый шелковый халат» (ДК, IV, 5). Он эстет-лежебока, но это не скучноватый, хотя и милый Обломов, а скорее занятый барин Осьмнадцатого Века; он сродни Державину, званскому помещику или князю Ивану Долгорукову, автору *Каминов*⁵. Он поэт — поневоле и по доброй воле чудака (ДК, V, 21). Ярче всего «запечатлел» он самого себя — лежащим на диване:

В Москву, к Христову дню, в обозном караване,
Покрыты инеем, с замерзшей бородой,
По степи тащутся крестьяне...
А я — мечтаю на диване —
Об участи людской...
Как славы нет... хвалю покой... (ДК, V, 9).

Здесь рабы трудятся, а барин мечтает... но был Филимонов из числа тех наших бар, которые, по мере сил, создавали и создали амфир, освященный именем Пушкина, т. е. «национальную культуру», которая признается образцовой и в после-революционной России. Рабовладельца Филимонова забыли, а рабовладелец Пушкин, хотя бы и «специально-препарированный» в советских учебниках — всё также возвышается на Тверском бульваре и в душах русских людей («хвалу и клевету приемля равнодушно»).

А счастливый долг верноподданного читателя Пушкина — напомнить о Филимонове, малом поэте пушкинской поры..

Мы знаем героя поэмы *Дурацкий Колпак*, но об «историческом» Филимонове известно мало. Вот краткий послужной список действительного статского советника Владимира Сергеевича Филимонова. — Он родился в 1787 г.; происходит из дворян Рязанской губернии; кажется он рано осиротел и своей второй матерью называет Н. В. Небольсину (ум. около 1817 г.); учился в московском университете; в отечественную войну служит в ополчении; позднее назначается вице-губернатором новгородским (1817-19 гг.); одно время он со-

⁵ Предвосхищая *Дурацкий Колпак* Филимонова, другой забытый поэт — князь Иван Долгоруков (1764-1823) шутливо величает самого себя дураком: «Я рад вечно быть дурак» (*Гудок Ивана Горюна*, Соч., II, 1849 г., стр. 229).

стоит компаньоном Н. А. Полевого по водочному заводу: славилась производимая там водка *филимоновка*; но зоицы донимали насмешками не дворянина Филимонова, а купца Полевого...; кажется в 1829 г. Филимонов назначается гражданским губернатором Архангельска; в 1831 г. отрешается от должности; по необоснованному обвинению в политической неблагонадежности он был даже арестован и 3-4 месяца провел в Петропавловской крепости; после этого жил в бедности, ослеп и в 1858 г. умер от водянки. Филимонов был женат, но о семье его мне ничего неизвестно. В 1814 г. он — в Германии (может быть с ополчением) и некоторое время живет под Гамбургом (во Флотбеке). В юности его наставлял Жуковский; Батюшков аттестует его как доброго приятеля. Пушкин издевался над его журналом *Бабочка*, но посвятил ему очень лестное послание (см. выше). Кн. П. А. Вяземский находит в поэме *Дурацкий Колпак* «стихи живые и поэтические, а как попали они ему в голову и на голову — Бог весть». Может быть личность его уважения не внушала. В 1828 г. он почему-то остановился в дальней Коломне (под Петербургом), в какой-то «деревянной лачуге», похожей на «гнусный дом». У него там до утра пировали Жуковский, Пушкин, А. А. Перовский и кн. Вяземский. Полиция донесла на последнего, что он «провел ночь у девок»... Вообще же о нем известно мало, но если порыться в архивах, то многое можно было бы выяснить. Пушкинисты очень скупо писали о нем в примечаниях к пушкинскому посланию Филимонова (Лернер, Модзалевский). Больше данных находим у Венгерова, комментатора Белинского. Последний всё в том же *Дурацком Колпаке* находит «много истинного чувства, игру ума, какую-то сердечную иронию» (последнее выражение чрезвычайно удачно). Как видно, Филимонова при жизни скорее одобряли. Всё же «литературная аристократия» (включавшая Пушкина), близко его не подпускала, держала на дистанции. Даже ободрение всеильного Белинского не спасло его от забвения. Юрий Верховской в антологии малых поэтов пушкинской эпохи места ему не уделяет; нет его и среди *Спутников Пушкина* Вересаева. Вл. Орлов еще в 1934 г. обещал опубликовать книгу о Филимонове, но (и едва ли по своей вине), обещания своего не сдержал. Только И. Н. Розанов посвятил ему очерк в своей *Русской Лирике*.

Мне кажется, Филимонов стоит ниже совершенного Дельвига, но рядом с Давыдовым и Вяземским (близкими ему по возрасту), хотя первому он уступает в чеканке стиха, а второму — в искусстве *causerie*; но некоторые его стихи очень хорошо сделаны и свободно крылены. Так или иначе, хотя бы и с поправкой на «увлеченность» мою, — о Филимонове, в канун столетней годовщины со дня его

смерти, напомнить стоило. Пушкинистам же еще предстоит сказать о нем свое веское слово.

Примечание: В. К. Филимонов выпустил всего 18 книг; среди них много переводов (из Клопштока, Горация и др.), роман в 5 частях «Непостижимая», водевили (переводные и оригинальные), «Живописная Россия» (в 4-х частях), сборник басен. Мне были доступны только 3 его книги (Kilgour Collection, Houghton Library, Harvard): «Проза и стихи», I-II, М., 1822 г., «Дурацкий Колпак», I-II, СПб, 1928 и III-V, СПб, 1838 (может быть эту поэму Филимонов начал писать еще в 1822 г.), «Обед», 1837 и некоторые цитаты. Библиография, см. соч. Белинского (ред. С. А. Венгерова), IV. См. также Пушкин (ред. С. А. Венгерова) IV; Письма Пушкина (ред. Л. Модзалевского), I; Н. А. Полевой, Материалы, прим. Вл. Орлова; Вяземский, IX, Батюшков (ред. Л. Н. Майкова), III; Жуковский, IX; Секретное дознание о Филимонове, сообщение Ю. Б. Неведова, Лит. Насл. 60, 1956; письмо Вяземского к жене о пирушке у Филимонова, Лит. Насл., 58, 1952; Жизнь Погодина Н. П. Барсукова, II и др.

Сокращения: ДК — Дурацкий Колпак, О — Обед.

ВЛАДИМИР МАРКОВ

О ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Что связывает нас? Всех нас?
Взаимное непониманье?

Георгий Иванов

Для солидности начнем от «раннего» Иванова. Это как будто совсем иной поэт. Преждевременно достигнутое мастерство. Он уже «все может», но «до чего же пуст этот вычурный сосуд» (Гёте о Тике). Рифмуются нимфы-заимфы, кресло-воскресло, целомудренные-напудренные. Ритмическим фигурам мог бы позавидовать сам Белый:

Мне улыбается Эрот
С фарфорового циферблата.

Надо всем и во всём — тот знакомый поэтический эклектизм, неизбежный результат акмеистской школы. Ничего не стоит написать о том или об этом, нарисовать картинку на данную тему (именно картинку, а не полотно) — амуры, газеллы, Павловск, Алексей человек Божий, — как бы в доказательство того, насколько легко писать стихи совершенные, не будучи еще подлинным поэтом. И характерно, что в «Бегстве в Египет» Иосиф «любовался» на закат. Характерно, что «луна взошла совсем как у Верлена». И мечта «лирического героя» характерна, но не оригинальна. Так мог бы написать Кузмин:

Всю жизнь свою провел бы я
За Пушкиным и чашкой чая..

Характерна, но не оригинальна. Так мог бы написать Кузмин, от которого много в стихах «раннего» Георгия Иванова. Есть там и Гумилев, и Ахматова. Но устанавливать родословные — занятие бесполезное. А то можно было бы вывести «позднего» Георгия Иванова из случайных строк Фета:

День бледнеет понемногу,
Вышла жаба на дорогу.

Впрочем, при желании, с натяжкой, можно и в ранних стихах услышать будущего Георгия Иванова:

Какая грусть! Какая боль!
А впрочем, это всё равно.

И даже что-то похожее на ритмы его «дневников»:

Напоминает вновь, что есть желанья дрожь
И счастья головокруженье.

Экскурс в «историю литературы» был предпринят не для полноты, иначе можно было бы упомянуть, что еще более «ранний» Георгий Иванов состоял в «ректорате эго-футуристов» и его имя красовалось там рядом с именами великого Северянина и (может быть, не менее великого, кто знает?) Грааля Арельского. Экскурс наш был предпринят для контраста. Перед тем как перейти к настоящему Георгию Иванову.

Литературоведы иногда вступают в тонкие дискуссии: кого можно и кого нельзя рассматривать как эмигрантского поэта. Кажется, принято считать: если поэт за два дня до отъезда из России напечатал одну строчку в неизвестной газете, то его эмигрантскость подвергается сильному подозрению.

Георгий Иванов — поэт русской эмиграции, потому что в эмиграции, и благодаря ей, он стал поэтом единственным и неповторимым. Важно и то, что он больше других писал в стихах об эмиграции и с эмигрантской точки зрения. Многие писатели и поэты русского изгнания эту точку зрения старались стусевать и свои, часто замечательные, картины прошлого задумывали как часть большой, великой предыдущей традиции. У Георгия Иванова это прошлое — откровенно ностальгическое (или ироническое) воспоминание, и оно «субъективно-локально», т. е. не только лично «вообще», а и записано человеком, находящимся в определенном месте. Это придает его стихам особую конкретную лиричность.

В этом смысле Георгий Иванов может быть самая несомненная ценность эмиграции. И здесь мы даже не сравниваем его с пресловутой группой «парижской ноты». «Нота» может не существовать, если имеется Иванов, потому что в его стихах есть всё, чего требует Адамович, и еще очень много сверх того, а лучшие представители «ноты» не дотягивают даже до рецептов «властителя дум» 30-х г.г. Сравнить его хотя бы с Поплавским, этим парижским Есениным для избранных, или с немного малокровной музой Штейгера. Насколько разнообраз-

нее, ярче, больше и глубже поэтический мир Георгия Иванова (не говоря уже о том, насколько лучше его стихи). «Парижская нота» — примечание к Георгию Иванову.

Интереснее сравнить его с двумя остальными «китами» эмигрантской поэзии — Ходасевичем и Цветаевой.

Ходасевич — неличный поэт, он редко приоткрывает закоулки своей души. Но он не принимает и мира вокруг себя, и поэтому редко видит его (в широком смысле конечно; детали он видит хорошо). Верховная ценность для него — культура, традиция. Он служил этой традиции и, трагически идя навстречу предрешенной «великой неудаче», пытался привести в гармонию свое сознание блоковской эпохи и свой вкус XVIII века.

Цветаева знала лишь себя и свое слово. Мир входит в её стихи только густо выкрашенным в краски ее личности. И это обрекало ее на изгойство. Кружки в эмиграции еще более жестоки к одиночкам, чем «массы» на родине.

Георгий Иванов видит мир и многое в нем понимает. Именно поэтому, несмотря на традиционные, в сущности, средства, стихи его звучат «модернистично». Но в этом видении мира есть что-то наредкость общее всем, как будто воспринимает не отдельное неповторимое сознание, а какой-то обобщенный человек нашего века. (Пусть не обманывает «субъективная» ивановская «манерка»: она может надоест поэту и он ее легко сбросит). В этом смысле фамилия Иванов даже символична. По его стихам историки потом смогут изучать сознание нашей эпохи. Остается только удивляться слепоте критиков, проповедующих поэзию современную, злободневную и неотрешенную от времени. Все эти качества есть у стихов Георгия Иванова, он не менее «современен», чем Некрасов для своего времени.

Мы все Ивановы, другой Цветаевой нет и быть не может, Ходасевичи вымерли или вымирают. И вполне закономерно, что Георгий Иванов, разуверясь, сомневается и эпатирует, Ходасевич озлобляется, а Цветаева утверждает свою прихоть.

Сравнения, по общему признанию, бесполезны и методологически несостоятельны. Но все, без исключения, с удовольствием ими занимаются. Поэтому, продолжим наши сравнения.

Не знаю, насколько правильно называть Георгия Иванова «последним русским поэтом». Но назвать его первым русским поэтом из живущих сейчас есть много оснований. Единственным соперником в конкурсе на получение звания был бы

Пастернак, и если брать творчество каждого из них в целом, выбор очень труден — не только сами поэты несравнимы, но и аудитории их взаимно друг друга исключают. Хотя некоторые литературные группы за рубежом (например, в Праге) в свое время Пастернаком увлекались, эмиграция в целом его не приняла, и даже лучшие ее критики плохо в нем разбираются. С другой стороны, наиболее курьезные отрицательные отзывы о Георгии Иванове приходилось слышать чаще всего от «новых эмигрантов».

Тем не менее, если присуждать пальму первенства сейчас, в 1957 году, она скорее всего должна была бы достаться Георгию Иванову. Пастернак, — не по своей вине, пожалуй, — постепенно терял внутренний поэтический накал, хотя виртуозность его остается тою же, и он (совсем как Георгий Иванов) может писать даже «левой рукой». Пастернак позрелел за последние годы, но куда делось волшебство его первых книг? Попрежнему ждешь его новых стихов, но их уже не любишь. Тогда как Георгий Иванов именно в зрелом своем творчестве стал незаменимым, и в каждом его новом цикле есть хоть одно стихотворение, само собой ложащееся «навсегда» на самую заветную полку поэтической памяти. Тем не менее, поэзия в России скорее пойдет за Пастернаком, чем за Георгием Ивановым. Но это уже явление «историко-литературное».

Из множества реакций на поэзию Георгия Иванова две кажутся мне особенно типичными.

Среди его хулителей немало людей, которые, в общем, признают «довольно высокое» качество его стихов, но их отталкивает, раздражает, возмущает то, что они называют «нигилизмом». (Впрочем, злоупотреблением словечка «нигилизм» грешат все, кто пишет о Георгии Иванове). На низших ступенях эстетического восприятия тут чаще всего недоразумение. В строке «хорошо, что нет Царя» не слышат интонации, читают слова, как читали бы их в газетной передовице, или же не дочитывают стихотворения до конца. Это эстетические зубры, которых, к сожалению, больше, чем политических (и в политике они частенько «левые»).

На более высоком уровне (мне приходилось встречать даже поэтов) этот род отрицания встречается у так называемых «цельных» людей, которые не любят неблагополучия. Пессимизм они принимают и в больших дозах, но в «классической» упаковке. Так Боратынскому прощают то, чего не

прощают Георгию Иванову, ибо у Боратынского — человек с большой буквы, значит не я, всё в порядке. Но ивановские стихи кусаются, и это не нравится. Очень часто в связи с этим начинается неизбежное отделение так называемого «содержания» от так называемой «формы». Я встречал людей, которых до глубины души возмущали строчки:

Конечно, есть и развлечения:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

Они советовали Георгию Иванову быть последовательным и «цельным» (как они) и итти самоубиваться, а не соблазнять других* (о, не их конечно, их не соблазнишь, но ведь всегда есть мальчик, который насмотрелся фильмов и убил свою бабушку). «Цельность», всё-таки, большой дефект, и я даже предпочитаю милого рецензента из полуграмотного сан-францисского журнала, который без негодования, а в недоумении, с упреком, писал о том же стихотворении: «Такой, казалось бы, полный переживаний человек, и вдруг — самоубийство...». И, похвалив «отличную технику» рекомый рецензент не перестает жалеть о «духовной слабости» ивановских стихов, о «некотором моральном скольжении поэта куда-то вбок». Сей рецензент подводит нас к другой категории читателей Георгия Иванова, — его стыдливых защитников. Они признают, что у поэта есть вещи не совсем приемлемые в хорошем обществе, и они готовы принести обществу за поэта свои искренние извинения. Операция производится разными, но очень знакомыми средствами: 1) отделением неприятного от приятного («Вы знаете, я в «Войне и мире» пропускаю эти главы с философией поэзии» или «Мне тоже не нравятся онучи у Некрасова, но у него есть — их немного, правда, — совсем пушкинские строки, напр., «Прости, не помни дней паденья»); 2) при помощи формулы общедоступной сложности в два слоя («Иван Иванович только притворяется суровым, у него золотое сердце»; Гоголь — это «смех сквозь слезы», «наплева-

* Можно представить себе райскую картину гармонии «слова и дела»: Пушкин, например, написав «Кинжал», идет пырять венценосца. Некрасов, которого чуть с ума не свели «несоответствием жизни и Музы», сжигает диваны, обитые шелком, и выходит на Волгу лично и конкретно...

тельство у Георгия Иванова — маска, поза, под которой скрывается другое»). Многослойность вообще, почему-то больше удовлетворяет, многоликости избегают. Так Пушкина тащут каждый в свой лагерь, так принято возмущаться Розановым-Варвариним и снисходительно замечать о Толстом-критике: «Великий был человек, а Шекспира не понял». Любят вертикальное, а горизонтальное вызывает негодование. Георгий Иванов многолик, а не многослоен, и каждое его лицо необходимо.

В связи с этим неплохо вспомнить, что в 1938 году Георгий Иванов написал книжку «Распад атома», за которую особенно стыдливо извиняются его «стыдливые защитники». О книге этой теперь говорят вполголоса*. Естественно, конечно, что в «литературных кругах», где могли проговорить целый месяц об одном «непристойном» словечке из романа Поплавского, не находят даже красок для возмущения по поводу «Распада атома». Однако, их патриотические сердца могли бы проникнуться гордостью, если бы они знали, что это не только скандал в великой моральной «учительной» русской литературе, но что это, может быть, самый последовательный «нигилизм» в мировой литературе, что Георгий Иванов тут опередил и превзошел «самого» Генри Миллера. Напрасно было бы однако пытаться втолковать, что проза «Распада атома» местами очень хороша, что отвратительные образы этой книги — символы, и, как таковые, не передают всех качеств «изображаемых вещей», что они явственно образуют музыкальный узор из мотивов, что, наконец, восприятие слов и образов в литературном произведении иное, чем жизненных явлений, обозначаемых этими словами. Сами эти символы типичны для современной поэзии, они встречаются у Т. С. Элиота в «Waste Land», у Ходасевича («An Mariechen»).

А зачем

любить меня Марките?!

У меня

и франков даже нет.

Маяковский

Георгием Ивановым возмущались, его пробовали оправдать, объяснить, им восхищались, но, кажется, никто не писал, как и за что он любит его стихи. В самом деле, за что любить

* В 30-х г.г. книгу и ценили и обсуждали. Тогда еще не знали о грядущей обезьянизации литературы.

этого бывшего молодого петербургского сноба, «объевшегося рифмами всезнайку», избалованного ранним признанием «лучших кругов» — в безвоздушной эмиграции вдруг ощутившего бессмыслицу, пустоту, дырку (жизни, искусства ли) и не в очень приятной форме доложившего об этом читателю? Но это — в лично-поэтическом, внешнем плане. Если же обратиться к «стихов виноградному мясу», то где еще сейчас найдешь эту простоту и вместе неуловимость, это чувство современности в сочетании с ароматом недавнего прошлого, эту смесь едкости и красоты?

Георгия Иванова любишь за современность. Это не значит, что он «откликается на современность». Это значит, что он задумывается о том, о чем я задумываюсь, дышит одним со мною воздухом, говорит на моем языке, каждое слово которого мне понятно (ведь последнему пушкинскому современнику завидуешь именно потому, что он ощущал каждое слово, степень новизны или архаичности этого слова, его взаимодействие с окружающим — всё, что для нас почти целиком утрачено). Георгий Иванов верен веку и себе больше, чем пишущие статьи о политической сущности момента, он открыт ему, как пушкинское эхо, может окрасить строку и в политику, ничего не удешевляя при этом.

Георгия Иванова любишь за человечность, качество в значительной степени утерянное поэзией. Его человечность в том, что он не лжет ни себе, ни другим; что он с ворчаньем говорит истины, которые принято вещать; что вместо «*este procul profani*» он просто скажет:

И с ученым или с неучем
Толковать мне, в общем, не о чем,

и этой фразой творит чудо: простой разговорной интонацией, какой-то повседневной сложностью самой мысли, он очеловечивает мизантропию. И почти во всех своих стихах он, одному ему ведомым путем, объединяет те две поэтовых ипостаси, которые сам Пушкин так резко разделил: «ничтожного» и «широкошумного».

Георгия Иванова любишь за редкую, ни на кого не похожую красоту его стихов. Кстати, те, кто любит говорить о его «нигилизме», забывают, что замечательное произведение, — как и вообще все удачное в искусстве, всегда утверждает, даже если повествуется о всеобщем отрицании. Не хочется подсчитывать гласные и согласные (хотя, кто, кро-

ме Батюшкова, умел так инструментовать на «н», так расставлять слова на «енье» и «анье»), и хорошо, что Георгия Иванова еще нельзя изучать: его красота живая. Зато чувство этой красоты, которое ни одна эстетика не может определить, у него безошибочное, и с какой небрежностью рассыпана она «волшебна на авось». В «Распаде атома» автор чуть не на каждой странице жалуется, что «чуда сотворить уже нельзя», но как удалось Георгию Иванову сотворить чудо, скажем, в «Желтофиоли» или в «Полутона рябины и малины»?

...как-то до войны, в Ленинградской Филармонии, я слушал с хором третью симфонию Малера. Уже играли последнюю часть; я прилежно следил за развитием тем, а зрительно представлял себе движение планет вокруг солнца. Вдруг незнакомый старичок, стоявший рядом, блаженно улыбаясь, шопотом закудахтал: красота, красота-то какая! И я вдруг понял, что вот сейчас купаюсь в этой красоте, и дело не в скучных темах и глупых планетах...

В стихах Георгия Иванова тоже дело не в нигилизме.

И есть еще нечто в этих стихах, за что любишь поэта, нечто, может быть, самое главное. Но здесь хочется сказать ивановским неблагожелателям: да, конечно, духовный план важнее эстетического, но вы в духовном-то плане видите у Георгия Иванова не то, что нужно. Нечто, о котором мы говорим, выражается в одном слове: в с ё - т а к и.

И всё-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

Ну а всё-таки милая тучка,
Я тебя в это сердце возьму.

И счастье «бессмысленно», и тучка «неособенно важная штука», а в с ё - т а к и. Блок писал о «бессмысленном и тусклом свете», Фет жаловался, что «сердца бедного кончается полет одной бессильною истомой», т. е. основные отрицательные мотивы поэзии Георгия Иванова не столь уж оригинальны. Но у кого было такое «всё-таки»? Разве только у Чайковского в последней части Четвертой симфонии («жить всё-таки можно»), но насколько это и беднее, и мельче. Стихи Георгия Иванова не о нигилизме, а о невозможности нигилизма, о преодолении его. Даже там где нет слова «всё-таки», оно в с ё - т а к и присутствует. На тротуаре поэт нашел розу, и он ее «выбросит в помойное ведро». Всё будет так, исхо-

да нет. Но всё дело-то в том, что двумя строчками выше «на ее муаре колышется дождинок серебро», что такой живой в своей красоте розы нет больше нигде в русской поэзии (да и в иной поэзии, кроме «Die Rosenschale» Рильке). Короче говоря: в помойное ведро роза брошена в одном плане, но в другом, несравненно более высоком, милая роза,

Я тебя в это сердце возьму

и серебро ее дождинок будет всегда колышаться в моей памяти.

Есть и менее важные вещи, за которые любишь Георгия Иванова. Хотя бы за то, что он пишет стихи об Антуане Ватто в век, когда того почти забыли.

Любишь, наконец, за отдельные стихи. Например, за «Эмалевый крестик в петлице», лучшее и единственное стихотворение о царской семье. Оно написано автором строк: «Хорошо, что нет Царя». А «настоящие» монархисты пишут сейчас так:

«Наступило время, когда деятельность Великого Князя должна быть расширена до предела, когда необходимо организовать учет кадров борцов за русскую государственность» (листовка Центрального Комитета по сбору средств в Казну Великого Князя).

В газетном стишке на сходную с ивановской тему обязательно фигурировало бы, даже в короткой строке, слово «мученичество» — мучная ламца-дрица, где в середине усатится Ницше, и конец — как ответ денщика офицеру.

А «эмалевый крестик» будет и через сотню лет преследовать совесть русского и наполнять его душу неизъяснимой печалью:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Стоит ли перечислять другие стихи Георгия Иванова — и кусающиеся, и очаровывающие, об эмиграции и о России, о розах и о звезде («сквозь сухие ветки», «на болотистом дне»), о творческом процессе и так, о пустяках.

Эта статья не разбор, не похвала к юбилею, даже не суждение. Скорее всего, это выражение благодарности — может быть и не поэту лично — за то, что вот есть сейчас такие стихи. Потому что большое счастье быть современником большого поэта. Но современника также трудно оценить, его трудно увидеть целиком, он еще не переплетен в полное собрание. Зато учиться у него молодым поэтам есть чему. О, не технике (хотя можно и технике) — а умению не врать. В его «позе» больше правды, чем в нашей претенциозной серьезности.

Оценка современника затрудняется еще и тем, что настоящий поэт всегда в движении. «Ворчливые» стихи Георгия Иванова заметно ухудшаются в качестве, но зато «волшебные» попрежнему волшебны. Не доказывает ли это, что настоящее всегда остается настоящим, а из «манерки», из «позы» он стремится выйти? Совсем недавно появилось его «Отзовись кукушечка», не похожее ни на что другое. Значит, еще не одна неожиданность может соскользнуть с его пера.

Но могут быть и счеты с Георгием Ивановым. Здесь нечего спорить, даже упрекать не за что. Но герой «Распада атома» заявил: «Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен». Мне (не лично мне, а моему поколению) кажется, что и моя вина тут есть. Это, может быть, единственная поправка к любимому поэту. Я всё-таки верю в ценности этого мира, несмотря на его безобразия и бессмыслицы. И розу я в помойное ведро постараюсь не бросать даже в этом низком плане. Несмотря на дурной пример «последнего поэта России», из глухой европейской дыры царящего над русской поэзией.

ПЕТР ЕРШОВ

ОДЕССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЫБЕЛЬ

(Отрывки из воспоминаний)

1.

«Зеленая Лампа» и Юрий Олеша

Одесса.

1917-ый год.

Весна.

Революция: кипучие политические страсти на сходках (о них заядлый филолог-славист, вскоре академик, профессор Борис Михайлович Ляпунов во всеуслышание в аудитории бормотал в нос — «безумцы»; и подслеповато поглядывал в окошко на уличные процессии с красными флагами и с еще более яростным увлечением начинал любоваться судьбой индоевропейского дифтонга «oi», обернувшегося в прелестное старославянское «ѣ»); профессорские диспуты об университетских грядущих реформах, — «заводиловкой» в этих спорах был видный старик, профессор-историк Евгений Николаевич Щепкин, при большевиках потрясший административным нигилизмом, руководил «вуз'ом», а, вернее, разрушал университетские традиции (вскоре он умер от хронического пьянства; вокруг смертного одра — батарея бутылок); революция же породила и разные студенческие кружки, прежде недозволенные в стенах университета...

Среди таких кружков — безобидный «литературно-художественный».

Инициатива, как говорится, вышла «из масс»: вывесил в раздевалке наивный юный провинциал листок из блок-нота: «поэты и писатели — объединяйтесь!». Вскоре обнаружилось, что застрельщик писал такие стихи, какие студенты дарят хорошеньким горничным. Инициатор «смылся», обиженный: жестокая молодежь неудачников не поддерживает.

Но по его почину поэты объединились. Выплыли никому еще неизвестные фигуры. Довольно быстро протекал и есте-

ственный и искусственный отбор. В конце концов, через год полтора десятка дерзателей гордо объявили себя содружеством «Зеленая Лампа», без слова «студенческая». И верно: добрая половина зеленоламповцев не была из университета или с Высших Женских Курсов.

Новое название обязывало, вело к имени Пушкина. А всё-таки пушкинского было у нас немного. Скорее — перепевы символистов. Очень тоже интересовались акмеистами, изощренными и новаторскими рифмами, «остраннением сюжетов»... Мало кто писал прозой. Никакого единства «направления» не было и в помине, — кто во что горазд. Критиковали друг друга безжалостно. Разбавляли литературные вечера музыкой, пением, вплоть до... песенок Вертинского, — на все вкусы.

Нельзя же вариться в собственном соку. Нужен читатель. Для читателя выпустили пестрый по содержанию, тоненький по размерам сборник «Альманах» (его теперь, вероятно, днем с огнем не сыщешь). Еле-еле склотили промеж себя нужную сумму для издания. Цензуре нечего было делать с этой тетрадкой: *ни одного стихотворения о революции* в 1918 году! Невероятно, но факт.

Любви же во всевозможных степенях — хоть отбавляй. Смерть тоже бродила в стихах, но «невсамделишная», умозрительная: молодость чаще всего счастлива иллюзией бессмертия.

Меньше всего о любви писал тогда Юрий Олеша. Полгода лишь проучившийся тогда на юридическом факультете, он искренно признавался, что наука ему не по нутру, при том — всякая наука. Почему? Оказалось, что университет похож на гимназию, а гимназия ему за восемь лет до смерти надоела.

Принялся он вдруг по-своему, не по-гимназически за Пушкина и завопил от восторга. Задумал переработку пушкинских тем, целый цикл — «Милые призраки» (название-то от Леонида Андреева!) — короткие стихотворения, например — «Дон Жуан», или «Пиковая Дама», или «Моцарт и Сальери»...

Не очень сведущий теоретически, собственной догадкой (а, может быть, акмеисты повлияли) доходил он до сжатых характеристик, в одной-двух строчках давая эссенцию образности.

Вот, вспоминаются сейчас две, где он показывает черную зависть Сальери во время игры на клавесине Моцарта, показывает через мимику, движение губ завистника:

И плотно сжал Сальери
Иссохший рот средневековых пап...

Только по памяти могу воспроизвести обрывки из его недлинной «Пиковой Дамы»: Герман, овладевший тайной графини, спешит к игрокам:

Швырнул шинель. Вошел упруго.
Блестя в паркете. Игроки.
Затянуты затылки туго
В галунные воротники.
Идет. Слуга склоняет плечи,
В чулках и белом парике.
Шеренга слуг стоит, и свечи
Коптят амуров в потолке.
— Здорово, Герман! — Он поклона
Не замечает, подошел
И профилем Наполеона
Склонился и глядит на стол...

Герман начинает игру с «сиятельным кавалергардом» у «зеленого стола, который рябит от карт»... Наступает напряженная, мистическая тишина.

В этом страшном безмолвии

Кто-то звякнул шпорой...
И оглянулся тот, который
В бокалы разливал вино...

В болезненное воображение Германа из подсознания прорывается подавленная грёза о девушке:

Почудилась улыбки прелесть,
И плечи в бантах, взгляд... и вдруг:
Чепец, трясущаяся челюсть
И вены исхудалых рук...
...А после тягостно и прямо
Посмотрят мертвые глаза, —
И ляжет пиковая дама
Взамен счастливого туза!..

Придирчиво (чувствуя в то же время яркость этого этюда), мы трунили над плечами «в чулках и белом парике» (запятая нас не устраивала), не соглашались с тем, что у Германа — профиль Наполеона... Да, разносили в пух и прах, строчку за строчкой, слово за словом. Такой уж был у нас тогдашний норов. Да ведь и сам Олеша, низенький, плотный, коренастый, широколицый, с тяжелой нижней челюстью, некрасивый, он сам обычно не оставлял «камня на камне» в чужих стихах. Утопая в кресле, он задирали ноги в непомерно больших ботинках, дрыгал ими и стонал, поймав чей-нибудь «ляпсус»: «ой, плохо! Как плохо»...¹ Но это было очень хорошо, что учились понимать «что́ и как плохо». С пеной у рта защищали свою и чужую находку. И хотя Олеша неприязненно глядел на науку, рифмуя ее со скукой, но в «Зеленой Лампе» именно была та особая наука поэтического мастерства, которую не найдешь в учебниках.

**
*

Выпустить второй альманах не хватило пороку. Зато читатель был заменен слушателем, зрителем.

В зале Консерватории, на протяжении всего смутного одесского 1918-го года (фантастическая смена «властей», неразбериха), «Зеленая Лампа» стала устраивать открытые платные вечера под несуразным названием — «поэзо-концерты». Удивительно, но — в небезопасные на улицах вечерние часы — концерты собирали изрядное количество публики и не только молодой.

На сцене устраивалась уютная комната. В центре на столе горящая лампа под зеленым абажуром. За столом в непринужденных позах — поэты: Георгий Долинов, он же прекрас-

¹ После трагических мытарств («репрессий»), Олеша снова пописывает в советской прессе. Именно «пописывает». В прошлом году вышел его однотомник (ГИХЛ, М, 1956 г.); и там на стр. 393-96, среди прочих мемуарных набросков есть воспоминание о том, как в 1919 г. А. Н. Толстой разнес стихи Олеша о Пиковой Даме; особенно издевался он над «копченными амурами» в строчках: Шеренга слуг стоит, и свечи / Коптят амуров в потолке (См. выше). Между прочим, стоит прочесть этот однотомник: он красноречиво подтвердит вывод, сделанный в этой статье; особенно интересны в этом смысле записные книжки Олеша (стр. 401-490).

ный пианист, Зинаида Шишова, Адалис (внешне — экзотика, египетский профиль, длинные острые ногти цвета черной крови), Бор. Бобович, Юрий Олеша, Л. Файнберг, Эмилия Немировская, Валентин Катаев, изредка Эдуард Багрицкий и, само собой разумеется, «др.». За пюпитром сбоку, у рамп, пишущий эти строки неизменно, на правах начинающего историка литературы, исполнял обязанности «конферансье», объясняя необъяснимое — поэтическую душу каждого поэта. Каждый читал свои стихи по-своему. Но почему-то считалось нужным говорить не своим голосом, нутряно, погуще, — рука патетически помогала голосу. Большинство напирало на мелодику. Олеша умел сочетать и напевность, и логику, — дикция у него была ясная. Рифмы же преподносил с особым вкусом.

Под влиянием жеманного стихотворения З. Шишовой о самоубийстве юноши из-за любви Ю. Олеша внезапно и стремительно написал трехактную пьесу в стихах — «Маленькое Сердце», — каждый акт минут на десять, на пятнадцать. Это был его первый драматургический опыт, где слышались отзвуки и Метерлинка, и Леонида Андреева и всё было зыбко, неясно, загадочно: «Маленькое Сердце» надо было не понимать, а «чувствовать». Не долго думая, вся братия поставила этот спектакль и доставила себе больше удовольствия, чем публике. Олеша ходил то именинником, то омрачался: — Театр удивительная вещь, — качал он головой, — у него дьявольские тайны и законы. Пишешь и воображаешь так, а выходит этак...

От нарядной Екатерининской площади с эффектным памятником Екатерине II-ой (у ног ее фигуры блистательных фаворитов) рукой подать до знаменитой лестницы в порт. Лицом к морю в широком окружении старинного архитектурного ансамбля-ампир — стоит популярный в Одессе памятник Дюка де Ришелье, француза, родившего русскую Одессу. Дюк с венком на голове, в римской тоге, простер радушную и покровительственную руку к былым, теперешним и будущим кораблям, входящим в широкую гавань. Слева и справа от Дюка бульвар, террасами спускающийся к пристаням.

Идем с Олешей. Смотрим (в который раз?) на Дюка. И очень серьезно Олеша, прищуриваясь от пекучего солнца, говорит:

— А он притворился каменным. Иногда он сходит с пьедестала и спускается по лестнице. Неужели этому нельзя поверить, а?

Меня не удивишь: мы уже привыкли в «Зеленой Лампе» к олешиному «разрушению реальности». Понимал ли он в те поры, что в нем жил бунтарский дух против трех измерений?

Поэтому-то и нравился ему Уэллс, в особенности — «Машина Времени».

Переиначить жизнь, преобразить её, сделать другой, — какой она предстает в мечтах, вот «изюминка» олешиного нутра.

Поэтому по-детски любил он мистификации. Всяких сортов.

Поехали мы поздней весной с «поэзо-концертом» в Елисаветград.

Дали два вечера при участии хорошего итальянского певца, случайно застрявшего в России, Де Нери.

После уже голодной Одессы миниатюрный Елисаветград (еще реяли там флюиды давней кавалерийской славы, звон шпор, умопомрачительные рейтузы...) был житницей. Один базар чего стоил! Здорово кормились мы в ресторане. Народу в нем было много. Глаза Олеша загорелись: — Прикинься иностранцем! Ну что тебе стоит?

В самом деле, что мне это стоило тогда? Море по колена! Пожалуйста!

На фантастическом языке, тут же изобретенном, я лопотал темпераментно и с самым серьезным видом. Олеша — «переводчик». «Переводил» он неожиданно... стихами. Он вообще легко импровизировал, но хитро, — для этого у него были наиболее удобные ритмы и обильный набор готовых незамысловатых рифм. Окружающие любопытные незнакомцы (может быть, тоже раскусившие игру и вошедшие в неё; впрочем часть-то принимала всё за чистую монету) потешались во-всю, беседуя с «португальцем» (!) через переводчика. Разыгравшись, пошли по магазинам, где нестерпимо долго покупали дешевую дребедень — «сувениры» из России.

Олеша наслаждался.

И вот, если хорошенько присмотреться к его позднейшим вещам — «Зависти» (тема, в основе, право же от «Моцарта и Сальери», только в другой тональности и другом плане), к «Списку Благодеяний», к «Строгому Юноше» и т. п., то разве не видно, что всё это было развитием и продолжением юного Олеси, органически никогда не принимавшего «элементарного реализма». Напрасно искать в его писаниях «отображения действительности», — это бесплодная задача. У него не «отображение», а *«преображение»* бытия, превращение пресной для него жизни в пряную выдумку...

ВЛАДИМИР ВАРШАВСКИЙ

К РАЗГОВОРАМ О ДУДИНЦЕВЕ

По отголоскам в советской печати мы знаем, что в России идет интеллектуальное брожение, но о характере этого брожения мы можем только гадать. Понятна поэтому жадность с какой в эмиграции набросились на роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Роман этот по слухам произвел огромное впечатление на советских читателей. Обсуждение его собирало повсюду толпы народа. Что-то в этом романе откликнулось настроением новой советской интеллигенции, в этом нет сомнения, но что же именно? Вера Александрова и другие наши критики сказали всё что можно было сказать бесспорного: советского читателя прельстила бесстрашная борьба героя романа Лопаткина против Левиафана советской администрации, борьба за человеческую личность, за творческую свободу, за вечные, лучшие человеческие чувства. Но принимает ли советский читатель и все другие идеи Дудинцева и что это за идеи? Здесь начинаются попытки чтения «подтекста», попытки законные и плодотворные, если только, конечно, они не ведут к подмене мыслей и стремлений автора своими собственными. В том, что у нас говорилось и писалось о романе Дудинцева было много серьезного и глубокого, но попадались и утверждения совершенно удивительные, прямо противоположные утверждениям самого Дудинцева, например: Лопаткин мол не верит в коммунизм, изобретённая им машина, для него только подробность, мелочь и т. д. Таких явных расхождений с текстом романа я постараюсь избежать. Утверждение мусульманских мистиков, что Коран допускает 7 или 70 или 700 планов толкования, мне кажется правильным, но при условии, что эти толкования не должны противоречить буквальному значению текста.

Мы не знаем, как написал бы Дудинцев, если бы мог писать свободно, мы знаем только то, что было напечатано, и тут сомнений быть не может — инженер Лопаткин восстает против существующих советских порядков не потому, что они коммунистические, а потому, что они недостаточно коммунистические, не соответствуют представлениям Лопаткина о том, чем должен быть подлинный коммунизм. Г. В. Адамович совершенно правильно, по-моему, указал, что в этом отношении роман Дудинцева напоминает ранние советские годы. В Лопаткине несмотря на все испытания неистребимо

живет героическая вера первых поколений вышедшей из народа советской интеллигенции, вера в человеческое действие, в науку, в технику, в возможность достигнуть господства над природой и историей, в возможность построить новую, лучшую, более братскую жизнь. Сохранилась ли ещё эта вера в каком-либо слое советского общества, мы не знаем. Рассказы многочисленных путешественников противоречивы. Одни утверждают, что в грандиозные полугениальные, полуидиотические мифы ленинского марксизма больше уже никто не верит. Из массового квазирелигиозного движения большевизм давно превратился в тоталитарное полицейское учреждение, которое держится не энтузиазмом веры, а на застывшей догме, регламентации, принуждении. Но умерла не только вера в пришествие коммунистического миллениума, умерла вера в какие-либо идеалы вообще. Молодая советская интеллигенция прагматична, деловита, равнодушна ко всем тем вопросам о Боге и социализме, которые волновали прежних «русских мальчиков». Другие путешественники утверждают прямо противоположное. Большевистская вера, сменившаяся у средних поколений равнодушием и разочарованием, еще жива именно в младшем поколении интеллигенции. Так Эдуард Кранкшоу пишет: для молодёжи, верящей в идеалы и готовой жертвовать собой ради этих идеалов, коммунизм — подаватель жизни, так как коммунизм за науку, за просвещение, за прогресс, и это в стране, лучшие элементы которой верят в науку, просвещение и прогресс так же абсолютно и пламенно, как 50 лет тому назад верили во всё это на Западе».

В какой мере эти противоречивые суждения соответствуют действительности мы можем только гадать. Несомненно одно: герой Дудинцева Лопаткин полон энтузиазма «просветительской» веры. (Сохранили ли эту веру многочисленные и восторженные советские читатели Дудинцева — вопрос другой). Но почему же тогда Дудинцева заставили переделать его роман? Ведь и большевистское мировоззрение тоже вышло из «просветительства», правда из самой его упрощенной, поверхностной и вульгаризованной формы. Самым страшным по последствиям здесь была фанатическая уверенность, что человек есть исключительно произведение окружающей среды, не имеет в себе никакого источника свободы и всё его поведение, все его чувства и мысли определяются законами механики, физики и химии. Отсюда такая же фанатическая уверенность, что человек бесконечно пластичен, что его можно как угодно «перековать», заставить верить, чувствовать и думать «как нужно». Из учения Маркса о бытии, определяющем сознание и из опытов Павлова над собаками делались самые крайние и абсурдные выводы. Вот здесь и

начинается «ересь» Дудинцева. Принимая всё праведное, что есть в просветительстве — веру в человеческое действие, в прогресс, в научную технологию, он в то же время восстает против чудовищного обезчеловечивания человека и культуры, к которому пришёл советский марксизм. Он как бы говорит: да, коммунизм, но без человеконенавистничества и лжи, да, социализм плюс электричество, но и плюс человеческая личность, со всеми заложенными в ней чувствами и стремлениями, с её таинственной свободой и несводимым к условным рефлексам даром делать изобретения, «открытия», к чему способен даже самый усовершенствованный коллектив. В сущности в представлениях Дудинцева о человеке восстановлено почти всё, что просветительство получило от христианства. Сознает ли это сам Дудинцев, оказали ли христианские идеи непосредственное воздействие на его сознание мы не знаем, но мы знаем, что по своему моральному вдохновению была христианской большая русская литература 19-го века, влияние которой чувствуется во всей духовной направленности романа Дудинцева. Об этом очень верно писал в «Новом Журнале» Р. Б. Гуль. Но можно допустить, что на Дудинцева оказала влияние не только художественная русская литература. Когда я читал у Дудинцева о жертвенной и подвижнической жизни Лопаткина меня всё время не оставляла мысль до чего это похоже на то, что писали современники о Николае Федорове. Не знаю слышал или не слышал Дудинцев о Федорове, но его Лопаткин воплощение федоровского «святого инженера». Поражает и такое же как у Федорова соединение просвещенской веры в технику и в творческое могущество человека с христианским чувством братства.

За редчайшими исключениями русские интеллигенты убеждены, что просветительство и христианство две веры абсолютно друг друга исключают. Мне уже приходилось доказывать, что главным образом именно поэтому не был понят Федоров. Боюсь, что вызовут недоумение и мои мысли о значении романа Дудинцева. У нас мало кто помнит, что само просветительство выросло из тенденций, рожденных христианством, но не находивших себе выражения из-за сопротивления «средневекового мирозерцания», в котором вслед за Бердяевым многие теперь видят чуть ли не золотой век христианства, но которое в действительности было реакцией против революции, вошедшей в мир с евангелием. Именно упорное сопротивление этого средневекового мирозерцания каждому шагу науки и свободы привело к тому, что христианский по своему происхождению замысел демократии и «машинизма» начал осуществляться в борьбе против традиционной религии. В век просвещения научная

революция и революция демократическая почти неразделимо сростаются с мирозерцанием всё более наивно-оптимистическим, плоским и вульгарным, мешавшим понять евангельское вдохновение провозглашенного просветительством идеала свободы, равенства и братства. Это основанное на роковом недоразумении противопоставление двух различных, но дополняющих друг друга тенденций, извратило всё развитие европейской культуры и привело к современному ее кризису. В большевизме просветительство окончательно оторвалось от своих христианских корней, окончательно расчеловечилось. Дудинцев почувствовал это, почувствовал, что пока еще не поздно, нужно вернуться к христианскому в сущности представлению о человеке, как о личном, свободном и творческом существе. В этом главное значение, мне кажется, романа и быть может указание в каком направлении пойдут идейные искания новой советской интеллигенции.

Со своей точки зрения большевики, конечно, правы нападая на роман Дудинцева. Пусть в романе нет никаких отступлений от ортодоксии, пусть Лопаткин обличает Дроздовых во имя идеального коммунизма. Уиклиф тоже сперва обличал только порчу нравов духовенства, а Лютер продажу индульгенций. Так всегда начинается ересь.

В заключение несколько слов об эмиграции. В упомянутой уже рецензии в «Новом Журнале» Р. Б. Гуль говорит: «На роман Дудинцева я хочу даже указать, как на некое назидание эмигрантской прозе. Ведь как ни грустно, русская проза в эмиграции страдала и страдает от безтемья». Гуль не прав. При всей своей чахлости эмигрантская проза имела свою тему. Название книги Адамовича «Одиночество и свобода» — лучшее определение этой темы. Нет, я бы поставил роман Дудинцева в пример не эмигрантской прозе, а эмигрантской публицистике, (тем более, что и роман-то этот скорее публицистика в беллетристической форме, чем чисто художественное произведение).

Чем же занята эмигрантская публицистика в то время, когда советская интеллигенция начинает искать новую идею? Да почти исключительно гаданиями о значении злободневных политических событий происходящих в Советском Союзе, гаданиями из-за отсутствия точной информации, почти всегда неверными. Читая роман Дудинцева, я всё время спрашивал себя: если бы вдруг стал возможен тот диалог, о котором мечтал Адамович, что бы мы, эмигранты,

сказали Дудинцеву? Я вспоминал лучших, по большей части уже умерших людей эмиграции, некоторые довоенные эмигрантские книги, некоторые статьи в «Новом Граде», в «Пути», в «Современных Записках». Мы могли бы с гордостью их назвать. Но среди того, что пишется у нас теперь, трудно было бы указать Дудинцеву на что-нибудь отвечающее его жажде абсолютной правды и его вере в возможность построить при помощи идеала и машин более человеческий и братский мир.

P. S. Эта статья о Дудинцеве была уже в наборе, когда я получил 49-ю книгу «Нового Журнала». Ф. А. Степун (в очерке о Г. П. Федотове) вновь поднял новоградскую тему свободы и истины. Это опять возродило во мне надежду, что эмиграция, может быть, еще способна что-то сказать людям в России, — в ответ на их искания, о которых в том же номере «Нового Журнала» пишет М. М. Коряков в чрезвычайно интересной статье, посвященной «Литературной Москве».

ЮРИЙ БОЛЬШУХИН

ПОИСКИ И НАХОДКИ

«Поиски и надежды» — заглавие самого крупного произведения, помещенного во втором сборнике «Литературная Москва» романа В. Каверина. Роман занимает двести пятьдесят страниц и содержит... Прошу прощения: едва ли есть надобность рассказывать о содержании каверинского романа, да, собственно, и вообще сколько-нибудь подробно излагать, шаг за шагом, все, что есть в альманахе.

Он наделал много шума и в Советском Союзе (крамола!), и даже за рубежом; многие из помещенных в «Литературной Москве» произведений, осужденных советской критикой, перепечатала эмигрантская печать — и не только эмигрантская. Больше всего разговоров о нескольких рассказах. Это: «Хазарский орнамент» и «Свет в окне» Ю. Нагибина, «Поездка на родину» Н. Жданова, «Рычаги» А. Яшина. В них много смелости, откровенных речей о вещах, которых прежде никак нельзя было касаться, а теперь — стало возможным. Словом, «Литературная Москва» дает много поводов для политических размышлений. Но я хочу поговорить о чисто литературной стороне дела.

Примечательно, что «крамола» очень хорошо сказалась на мастерстве писателей. Соцреалистические книжищи, принесшие своим авторам свыше предписанную славу и много «злата», были, по большей части, необыкновенно серы и скучны: выручала верность партлинии и прочие внелитературные качества. А нынче совсем иное: плотная, прозрачная, свежая и весомая проза, вполне в классической традиции русского реализма. Только, я бы сказал, реализма не чеховского, а скорей тургеневского.

Хорошо, талантливо написаны «крамольные» рассказы. Написаны они, как сказано, преимущественно в тургеневском ключе, кроме рассказа «Поездка на родину» Ник. Жданова, в котором больше ошутима, как принято выражаться в советском литературном быту, «учеба» у Чехова.

Советский чиновник приехал в родную деревню, чтобы похоронить мать. Похоронил, перемолвился словом с двумя-тремя людьми, погрустил — и уехал обратно.

«Однако чувство какой-то вины еще долго не оставляло Ваврыгина. Сон не шел, и сквозь тягучую дрему воображение рисо-

вало ему бревенчатые кресты на фоне серого неба, знакомый дом, длинную тесовую скамью вдоль стены, старый самовар в углу, накренившийся набок. За струганым столом сидит мать, лицо у нее маленькое и темное, как было в церкви; она подвигается к нему и спрашивает с надеждой и ожиданием, как спрашивала солдатка Деревлева: «Верно ли, нет ли с нами сделали?»

Эта тема — «верно ли с нами сделали?», звучит в различных вариантах чуть ли не на всех 792 страницах альманаха. «С нами» — значит с народом, главным образом, с крестьянами. Это, собственно, и есть основная крамола. Хотя в каверинском романе тоже повествуется о несправедливостях власти, но — в ином разрезе. «Поиски и надежды» (третья часть трилогии «Открытая книга») трактует ту же тему, что и роман Дудинцева «Не хлебом единым». Тут тоже — даровитый, крепкий, решительный и «несгибаемый» человек, идейный строитель коммунистического будущего, подвергающийся гонениям разных сквернавцев, очень похожих на Дроздова из «Не хлебом единым». Дудинцева за его роман ошельмовали, но, в сущности, его роман, как и каверинский, очень успешно можно было истолковать в пользу режима: настоящие-мол, строители коммунизма это люди полные гражданских и иных добродетелей, а те, кто их травит, это накипь, дрянь, всплывающая в весеннем потоке кверху. Попутно о «Поисках и надеждах»: свойство Каверина — писать так, что, читая, все хочется поскорей добраться до конца, но не тут-то было! Как это бывает у оратора, говорящего хотя и дельно, но никак не могущего «закруглиться», или как в финале произведения классической музыки: вот, кажется, прозвучали самые последние тра-ра-ра... ан нет, за ними следуют все новые! Вернусь к рассказам.

В «Хазарском орнаменте» Юрия Нагибина — отличный пейзаж, не вообще русский, а глубоко местный, мещерский, полный своеобразия, точно и смело написанный.

«Пробираясь из Спас-Клепиков на озеро Великое, мы не узнавали уже хоженной дороги и знакомых мещерских просторов. Леса купались в воде — казалось, они растут из неглубоких, чайного цвета озер. Каждый овраг, каждая впадина наполнилась водой, отражавшей днем небесную голубизну, а ночью — звезды»...

И люди местные, мещерские: охотники, рыболовы, колхозники; и люди приезжие, москвичи, забравшиеся в эту глухомань по разным делам, и эти хождения по болотам, и плаванье в лодке, и длинные разговоры в озерной сторожке, разговоры, в которых рассказывается горестная, неприкаянная жизнь — всё полно доподлинной правды, всё зовет к обобщениям (глубоко своеобразно).

разная черта русской литературы!), и радуется доброй силой художественности. Фабулы в рассказе, собственно, нет. Ученый исследователь хазарского орнамента «человек раз и навсегда испуганный», поехав охотиться в мещерскую глушь, столкнулся с вопиющей нелепостью, гибельными неурядицами, послушал других, сам поговорил, встретил хорошего человека, радетеля благополучию мещерского края, (этот человек оказался новым секретарем райкома), — и...

«Какая-то неуловимая перемена произошла в его облике: у него были новые глаза. Не то что новые — такие глаза были у него, верно, в молодости, когда он и в мыслях не имел отдать все силы своей живой души хазарскому орнаменту...»

Немного наивно выглядит это перерождение — собственно, то что личность нового секретаря райкома оказала столь благодетельное действие на «раз навсегда испуганного». Здесь, конечно, дань времени: «теперь у нас пойдет уж музыка не та»... Однако, секретарь обрисован и впрямь очень привлекательно. Он совсем не похож на стандарт, обитавший в советской литературе еще так недавно — нечто вроде коммунистического чудотворца, пальцем разводящего любую беду. В рассказе Нагибина секретарь действительно новый, свежий и очень приятный человек, и очень хорошо вписан в местный ландшафт. Автор мог бы и обойтись без этой сугубо положительной фигуры, но тогда, может быть, нельзя было бы рассказать правду о Мещере.

«Рычаги», как и другие «крамольные» рассказы, жанрово родствен очерку. (Вспомним, что даже в самый разгар соцреалистической эпидемии в очерках писатели отводили душу на описаниях природы, на хорошем крепком диалоге).

Несколько деревенских активистов, собравшись в правлении колхоза, нещадно дымят цыгарками и очень свободно, умно и правдиво толкуют о колхозных делах. Неожиданно оказывается, что их слышала пришипившаяся на печке сторожиха. Собеседники конфузятся, и тут оказывается, что они пришли на партийное собрание. Собрание начинается — и мгновенно исчезает вся непринужденность, остроумие, смекалка. Те же самые люди, говорят о тех же самых делах, но говорят как граммофоны, нудными словами, принимают идиотскую резолюцию.

«Домой собрались быстро, и похоже, что у всех на душе было ощущение исполненной обязанности и в то же время неловкости, недовольства собой».

Только один из присутствовавших не подвержен гипнозу обязательной казенщины — молодой, недавний партиец Щукин. Он

не испытал того привычного страха, который много лет давил сознание всех других. Шукину смешна комедия, которую он видит. Шукин — новый человек, представитель той силы, которая введет совсем другие порядки.

Есть в сборнике большой раздел собственно очерков. Об одном из них — «Деревенском дневнике» Ефима Дороша можно бы написать, по меньшей мере, такого же объема (77 страниц пети-та) статью, а то и целую книгу! Толкуя о получивших большую известность крамольных рассказах, многие не заметили этого очерка. А он — замечателен, во первых, тем, что крамолы, то есть правды, в нем гораздо больше, чем в рассказах, а во вторых — обилием чисто художественных достоинств. По каким-то соображениям, автор изменил не только собственные имена людей, но и названия местностей. Это Подмосковье, край очень древний, здешние селения, по слову автора, «куда старше Москвы». Места прелестные — тихие, глухие и чрезвычайно самобытные, особенные — не только по ландшафту, но и в хозяйственном отношении.

Живут в этом краю крестьяне-колхозники, живут — маются, потому что начальство заставляет их вести хозяйство, не учитывая тысячелетнего опыта, накопленного предками теперешних обитателей этих скудных мест. Где нужно сеять «мешанку» — смесь овса, вики и подсолнуха, там велят сеять кукурузу, от которой кроме хлопот, никаких результатов. Край изобилует влагой — и почвенной, и атмосферной, а умное начальство догадалось разрушить все овины. Уродится рожь — радости мало: снопы негде сушить, гниет, пропадает и зерно, и солома.

И так далее — на каждом шагу. Единственное спасение составляют приусадебные участки. На них «выращивают» огурцы и лук (которые в колхозе тоже «выращивают», но в колхозе они никуда не годятся) и продают на рынке, да еще вишня из собственных вишенников спасает колхозный люд. Продают эту вишню по девять-десять рублей за килограмм! Учтя такие цены, не удивишься, что в районе есть колхозы-миллионеры. Чорта ли в таких миллионах. Бедная колхозница подсчитывает, сколько она в летошнем году выручила за проданные продукты собственного хозяйства: 16 000 рублей.

Колхозы-миллионеры и колхозники-тысячники влачат жалкое существование, и вот, на этом безрадостном фоне вырисовывается знакомый автору председатель одного колхоза Иван Федосеевич. Он — деловитый, талантливый хозяин. Он плевать хочет на сводки и директивы, а руководствуется здравым рассудком, опытом и соб-

ственной инициативой. И... вот уж тут нельзя не вспомнить тургеневского Калиныча!

Иван Федосеевич коммунист, и он же — живое опровержение коммунистического режима. Он — прекрасный образец умного, реалистичного, дельного русского человека, которому дай только ему возможность, так он и на голом месте создаст прочное, цветущее житье. По страницам очерка рассыпаны сотни ярких мазков, мимоходом брошенных замечаний, советов — весьма резонных: надо бы то, а почему не сделать бы вот так... из-за всего этого встает такая подавляющая картина всеобщего оскудения, огрубения, какого-то одервенения, что холодок пробегает по спине.

Вот хоронят шестнадцатилетнего парня, убитого в пьяной драке. Вот у женщины родился ребенок; отец неизвестен, вероятно бывший предколхоза: «откажи, попробуй, председателю, если ты одинокая, с девчонкой и старухой матерью...» Вот событие: в Красный трактир, ныне — «кафэ инвалидов» занесла нелегкая какого-то генерала. Генерал заказал шампанское (что же и пить генералу, как не шампанское!). «Шампанское, разумеется, нашлось, — как и крабы, оно имеется повсеместно, — однако никто не знал, как его откупорить...» Колхозное благосостояние: «в прошлом году на трудодень здесь выдали всего по триста граммов зерна». Нет табаку. «В лавочке надо думать, бывает табак, да по своим расходится. Алексей Петрович (партийный руководитель) советует председателю держать в кладовой ящик-другой табаку. Он говорит: будешь давать тем, кто хорошо работает».

Где зимовать скотине? «Все дворы раскрыты и полуразвалились, страшно подумать, что будет зимой».

Это действительность, а не газетная реляция. Иван Федосеевич ведет единоборство с губительной стихией коммунистического планирования — Сизифов труд! Как заставить людей хорошо работать, поощряя их пригоршней табаку, ежели каждый из них непрестанно убеждается на собственном опыте, что как ни трудись, всё сожрет, растратит, загубит дьявольская нелепица?

Очерк Е. Дороша придает как бы стереоскопическую перспективу «крамольным рассказам». В советской литературе появилась жизненная правда, она идет бок о бок с правдой искусства; в этом и состоит ценность сборника.

Истинное украшение его — «Под чистыми звездами», рассказ Ивана Катаева, отличного писателя, погибшего в ежовщину («был арестован по ложному обвинению и погиб в заключении» — сказано в редакционной заметке, предпосланной рассказу).

Не хочется говорить о натянутой и ходульной пьесе Н. Погодина «Сонет Петрарки», претендующей на проблемность, и о «Жизни в рассрочку» Евг. Босняцкого и Алексея Коробицына, произведении, «бичующем» капитализм в Мексике: явная дешёвка. Вообще, в сборнике немало то ли принудительного асортимента, то ли просто случайного материала. Зато, кроме «крамолы» там есть интересные вещи, например, куски из записных книжек покойного Фадеева и замечательные в своем роде заметки Лидии Чуковской о редактировании прозы. Это живой рассказ о «борьбе педантов с народной речью, с жизненно верной разговорной интонацией», о старательном обесцвечивании слога и о прочих печальных подвигах убежденных скопцов от литературы. Увы, литправщики свирепствуют не только за железным занавесом, и читая заметки Чуковской, лишний раз убеждаешься, какое это тонкое, благородное мастерство — правка рукописей, — и как мало в мире людей, владеющих им.

В одном из изданий «Школы» Гайдара редактор убрал слово дурак, как грубое и вульгарное, не приняв во внимание даже то, что это слово в тексте относится... к таракану. А другой фразу «надела на босу ногу туфли» исправляет так: «на босые ноги»!

Но Бог с ними, с правщиками. Их-то ведь самих ничем не исправишь.

Умные составители сборника отнесли в конец книги несколько неизданных стихотворений Марины Цветаевой и отрывки из литературных дневников Юрия Олеши. Стихи (не поручусь, что все они действительно нигде не были опубликованы раньше), датированы 1913, 1916, 1920, 1923, 1924 и (последнее) — 1933 годами. О самих стихах ничего я не скажу, потому что стихи — дело взаимного доверия поэта и читателя. Вот, не так давно Г. Адамович выбрал покойного поэта за безвкусицу и графоманство, приведя в доказательство стихи, которые, на взгляд других, великолепны, восхитительны. А где мерило для качества стихов? Конечно, только вкус. Но чей вкус лучше и верней? Как это решить — голосованием?

Стихи Цветаевой сопровождает статья И. Эренбурга, статья элегическая, теплая и туманная. Хорошо, что Эренбург не сделал из Цветаевой большевички. «Сейчас еще не время рассказать об ее трудной жизни. Эта же статья служит предисловием к однотомнику стихов Цветаевой, который, кажется, уже выпустил Гослитиздат.

Литературные дневники Юрия Олеши — большая ценность. Не потому, что в них сгущенно вместились то, что мог бы Олеша написать в книгах. Дневник Олеши — меньше всего литературные

заготовки, да, к тому же, как известно, из записных книжек писателей мало что попадает в их произведения.

Есть в Олеше некая восторженность, почти детская, похожая на восторженность самоучки, так называемого «человека из народа», хотя Олеша — культурен. Душевная нетронутость, розовощесть. Преклоняется пред Алексеем Толстым потому, что Толстой очень развязно «написал» сказку о Буратино (попросту — спланировал, пересказал всемирно известного «Пиноккио»).

Детская влюбленность в личность Маяковского. И рядом — замечательные проникновения. Вот он записывает свои мысли о Пушкине:

«У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется просто непостижимым.

Когда сюда, на этот гордый гроб
Придете кудри наклонять и плакать.

«Кудри наклонять» — это результат обостренного приглядывания к вещи, несвойственного поэтам тех времен. Это слишком «крупный план» для тогдашнего поэтического мышления...»

Замечательны олешины замечания об Александре Грине. Олеша вдребезги разбивает (в нескольких словах!) упреки в подражательстве, относимые к Грину. Или:

«Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было».

Олеша в советской, да и вообще в русской литературе такой же «уникум» и одиночка, как в зарубежной литературе В. Набоков-Сирин. Нарочно упоминаю именно Набокова, хотя есть и другие своеобразные, непохожие на других русские писатели. Дело в том, что Олеша, будучи родственен Набокову по самоуглубленности и еще по некоторым признакам, в том числе по напряженной отчетливости виденья вещей, по придирчивой тщательности слога, предельно противоположен ему по писательскому отношению к миру вещей и миру мыслей. Где у Набокова ирония и скептическое прищуривание, там у Олеша прямота и мальчишески широко открытые глаза... и даже немного того, что по немецки называется *der tierische Ernst*. Олеша всё-таки несбывшийся писатель, загубленный, подкошенный. В «Литературной Москве» его записи — настоящая находка, но как подумаешь, что ведь мог бы он написать еще хоть две-три настоящие книги...

В. ВЕЙДЛЕ

В Е Д Ь

Словцо как будто невинное, но времена пошли такие, что порой задумываешься и над ним. По старой привычке не перестает оно соскальзывать с языка, хоть и знаешь давно, что лучше бы совсем от него отказаться. Не отсутствует оно, как я в том не без досады убедился, и в статье моей «О спорном и бесспорном», хотя примеры, приведенные там, как раз о неоправданности его и свидетельствуют. Зачем говорить или писать «ведь», если ты вовсе не уверен, ведают ли те, к кому ты обращаешься о том, что тебе кажется очевидным, и совершенно ли они с тобой согласны насчет этой очевидности. Бывают, конечно, истины допускающие старое словоупотребление; например: «ведь лошади едят овес и сено (а вы их, олухи, опилками собираетесь кормить!)» или, на уроке географии: «Волга то ведь в Каспийское море впадает (зачем же ты мне тут Черное нарисовал?)». Но истины эти столь общеизвестны и скучны, что о них ни с «ведь», ни без «ведь» говорить не стоит. А о том, о чем стоит говорить, приходится говорить без «ведь». И проистекает от этого немалая грусть.

Почему? Потому что это предполагает необходимость растолковывать азы, вместо того, чтобы, подразумевая их, толковать о вещах более занятных. Или же означает неизбежность писания впустую, без надежды на чье-либо понимание или хотя бы внимание. Ибо что такое «ведь», как не постоянно возобновляемое уверение — самому себе, что тебя поймут, и читателю, что понять тебя не так уж трудно? Кое в чем с тобой согласятся, кое в чем и нет, но согласие или несогласие определится на основе чего то, с чем все согласны. Эти «все» может быть и не все вообще (иначе согласие слишком редко превышало бы меру Каспийского моря и сена с овсом), но это все те, для кого ты пишешь. Например, все те, кто читает не одни газеты и легкого поведения романы, все те, кому не все равно *как* что-нибудь сказано или *что* сказано по тем или иным не практическим, не житейским (в отличие от жизненных) вопросам. Такие, более или менее «литературные» люди принадлежат, как и все другие, к различным поколениям, внутри которых область применения слова «ведь» особенно обширна; но применимо оно бывает, в совершенно достаточной мере, также и за пределами отдельных поколений, в их перекрестном общении, протекающем в

рамках определенного времени и определенной среды. Так бывает в нормальных условиях; но в том то и дело, что люди, пишущие и читающие по-русски, пишут нынче и читают в условиях отнюдь не нормальных и становящихся все менее нормальными. В предыдущей моей статье я говорил об этом применительно к эмиграции, но вопрос можно поставить и шире. Увы, прямо-таки предела нет его ширине...

В книге Г. А. Глинки «На перевале», вышедшей в Чеховском издательстве, дана весьма высокая оценка литературной деятельности главного критика и заботливого покровителя писательской группы «Перевал», А. К. Воронского. С такой оценкой можно отчасти и согласиться, памятуя о судьбе этой группы и о том, что последовало за ее разгромом в советской литературе, а также принимая во внимание несомненную порядочность, несомненное мужество Воронского, который подобострастием не грешил, и, в отличие от большинства советских критиков, отстаивал свои убеждения, а не чужие. Оценка эта разделяется, к тому же, многими литераторами, в России и за рубежом, помнящими Воронского или читавшими его книги и готовыми воздать ему по меньшей мере такую же хвалу, как та, на которую, по словам Г. А. Глинки, не скупилась в свое время и его недруги. «Даже явные враги Воронского — пишет он на стр. 45-ой своей книги — вынуждены были признать некоторые его заслуги. Обрушиваясь против формулы Воронского «искусство есть познание мира в образах», или, обвиняя его в преувеличении роли попутчиков и злоумышленной недооценке пролетарской литературы, присяжные критики отмечали что Воронский выделяется меткостью характеристик, нешаблонным подходом к литературным явлениям и прекрасным языком».

Тут мне, однако, приходится сознаться, что прочитав эти строки я все же слегка опешил и впал в довольно горестное раздумье, между прочим напомнившее мне, что и я писал некогда о Воронском — о его книге «Литературные типы», вышедшей в Москве, в издательстве «Круг», больше тридцати лет тому назад. Рецензия моя была напечатана в парижской газете «Дни» в 1926 году, 19 февраля, всего через полтора года после моего выезда из России. Вырезка у меня сохранилась; я разыскал ее, перечел статью, подписанную Н. Дашков (как я подписывался иногда в то время) и подумал, что этот Дашков мог бы быть и не я. Любой мой сверстник, с тем же приблизительно литературным кругозором, дал бы о

книге Воронского отзыв совершенно подобный моему. Именно поэтому я привожу его здесь в качестве документа, без всяких изменений, конечно, и полностью, если не считать трех заключительных фраз, не относящихся к сути дела и в данной связи неинтересных:

«Самый почтенный из советских критиков и, кажется, самый грамотный, пишет необыкновенно длинно. Двести пятьдесят страниц его книги можно было бы изложить на двадцати пяти. Особенно подробно говорится о Маяковском, Есенине, Демьяне Бедном, Бабеле, Леонове и Сейфулиной. И говорится о них в сущности все одно и то же. Литературные взгляды Воронского можно свести к двум следующим положениям: писать следует, в стихах и прозе, непременно о революции, о коммунистах, о новых рабочих и новых крестьянах, вообще о «новом»; но описывать это новое лучше всего по старому, по привычному, чтобы всем было понятно: лучше Пушкина, Толстого, Мопассана и Анатоля Франса все равно не напишешь. С этой-то двойной точки зрения и рассматриваются вышепоименованные писатели и поэты. У каждого из них есть что похвалить, но есть и на что посетовать. Одни плохо разобрались в революции, нэпе или марксизме, другие пишут об этих предметах что-то уж слишком оригинально. Один только Демьян Бедный в равной мере удовлетворяет обоим требованиям нашего критика. Не все у Демьяна одинаково прекрасно, однако в его поэзии есть что то истинно классическое и мы предвидим, что в пантеоне Воронского он вскоре займет место рядом с Пушкиным, Толстым, Мопассаном и Анатолем Франсом, к которым надлежит прибавить Гомера и Глеба Успенского.

«Воронский не фанатик, мир для него не исчерпывается коммунизмом, его оценка Демьяна Бедного (далеко баснописцу Крылову до баснописца Демьяна) объясняется не политическими взглядами, а качеством его художественного вкуса. Он искренно почитает литературу и в глубине души требует от нее только одного: чтобы она как можно меньше была литературой. Никогда, например, он не позабудет порадоваться приближению стиха к «простой разговорной речи», или превращению Маяковского в митингового оратора. Он всегда готов защитить писателя, если только тот не слишком углубится в свое писательское дело. Все это на практике, в теории же он знает, что роман не фотография, а стихи не мнемоническое средство: ведь человек он образованный. Даже слишком; так, ни стойку, ни даже элэату Зенону нечего делать в фразе «диалектический процесс истолковывается зеноновски, софистически», а фразе этой нечего делать в книге о литературе. Нам каза-

лось иногда, что образование Воронского семинарское. У него замечается склонность к библейским цитатам, церковно-славянским выражениям («аз грешный», «шуйца и десница») и к употреблению, вместо слова «конечно», слова «всеконечно». Грамотность, о которой говорится выше, имеет свои границы. Мы читаем, например: «в них вдунута своя душа», «Маяковского спасает бездна таланта», «земля имеет свое иго», «он издевается и хулиганит над маэстрами и жрецами искусства», «ради для примера» и т. д. Если политика не вполне владеет товарищем Воронским, то тов. Воронский не вполне владеет русским языком. Это «не вполне» проникает всю его книгу; она во всех отношениях умеренна...»

Как видим, не заметил Дашков у Воронского ни «меткости характеристик», ни «нешаблонного подхода к литературным явлениям», ни «прекрасного языка» (зато угадал в нем бывшего семинариста, еще не зная того, что он им именно и был). Бьюсь об заклад, что Дашков, будь он не я, точно также этих «заслуг» за Воронским не признал бы, а доживи этот Дашков до сегодня, он и сейчас не меньше меня был бы озадачен прочтя о них в книге Глинки, да и насчет формулы «искусство есть познание мира в образах», сказал бы, вместе со мной, что «обрушиваться» тут конечно не на что, но что и в банальности ее тоже сомненья нет. Все это не значит, что мы с Дашковым собираемся Г. А. Глинку обвинять в слишком высокой оценке Воронского или в чрезмерном снисхождении к нему. Со своей точки зрения те, кто хвалит Воронского правы. Но наша — Дашкова и моя — литературная совесть запрещает нам его хвалить. И вместе с тем нам сдается, что мы Глинке не можем сказать: да, Вы правы, бывает хуже, но ведь плохо и это. Пусть и честный человек был Воронский, но ведь писатель-то он всё-таки серый. То есть, пожалуй, можем и скажем. Но только без «ведь». Во всяком случае без «ведь».

Воронский родился в 1884 году. Другие «перевальцы» были моложе, но все они выросли и воспитались еще до революции. По многим вопросам, в том числе и литературным, можно было по всей вероятности беседовать с ними без больших недоразумений и даже пользуясь тем предательским коротким словцом. Но как насчет тех, кто годится им в сыновья или во внуки, кто воспитан уже по новому, кто знакомится с до-революционной нашей словесностью по книгам мощенников и невежд, вроде тех, что писали десятый том издаваемой Академией наук «Истории русской литературы»? Боюсь, что с ними даже и без «ведь» было бы трудно говорить. Не то, чтобы они были глуше и бездарней своих отцов или дедов.

Мне, кажется, напротив, что признаков жизни в советской литературе сейчас значительно больше, чем двадцать или даже десять лет тому назад. Пожалуй в стихах это еще ярче проявляется, чем в прозе. Думаю, например, что у (не очень уже молодого) Леонида Мартынова стих звучит свежей, чем у многих из тех, кто постарше его среди стихотворцев, и чем звучит проза у его сверстников-прозаиков. Его не так давно опубликованное собрание стихотворений читал я с немалым удовольствием, хоть и соболезнуя ему в том, что никаких чувств кроме бодрых и радостных ему выражать в стихах не разрешено. Но как раз этот самый Леонид Мартынов и заставил меня окончательно предать анафеме слово «ведь», когда я прочел одно его короткое стихотворение в сборнике «Литературная Москва» (1956, I). Сперва, однако, приведу другие его стихи из того же сборника:

Я помню: целый день все время падал снег
И всю тяжестью висел на черных сучьях,
Но это шла бесна: тянуло влагой с рек,
Едва проснувшись и прячущихся в тучах.

Тянуло влагой с рек и внутренних морей
И пахло льдом, водой и масляною краской.
Казалось — шли часы не тише, не быстрее,
А так же, как всегда, над строгой башней Спасской.

Но время мчалось так, как будто целый век
Прошел за этот день... И не мешала вьюга,
Чтоб нес по улице какой-то человек
Мимозы веточку, доставленную с юга.

Стихи — не правда-ли? — хорошие. Сознаюсь, впрочем, что напечатал я их здесь не так, как они были напечатаны в «Литературной Москве». Там автор разбил каждую строку на две, а первую строку каждого четверостишия даже на три строки. Если он сделал это для повышения заработка, наше сочувствие ему обеспечено. Если же по убеждению, то это значит, что его поэтическая культура ниже, чем стихотворческое дарование. Перейдем, однако, к другому стихотворению, где вопрошанию подлежит не одна поэтика. Оно озаглавлено «Богатый нищий»:

От города неотгороженное
Пространство есть. Я вижу: там
Богатый нищий жрет мороженое
За килограммом килограмм.

На нем бостон, перчатки кожаные
И замшевые сапоги.
Богатый нищий жрет мороженое,
Пусть жрет. Пусть лопнет. Мы — враги!

Странное стихотворение. Надо ли считать, что признаки богатства в нынешней России, это неплохой костюм, замшевые сапоги (которые за границей стоят столько же, сколько и незамшевые) и кожаные перчатки, — нитяные, что-ли, надо носить, и зачем летом (раз шубы на богаче нет) носить перчатки, особенно, если при этом ешь мороженое? Да и поедать килограммами мороженое, разве это признак буржуазного разложения, а не редкостного инфантилизма, способного привести к сильному расстройству желудка? И зачем же мне, собственно, такого взрослого младенца ненавидеть? Оттого что я не люблю мороженого (или кожаных перчаток)? Или оттого, что я питаю к этому мороженому (или перчаткам) такую страсть и так завидую несчастному стилинге, что готов объявить ему войну на вечные времена? Но разве все равно — раздувать ли мировой пожар на горе буржуям или на горе стилингам? И не уместней ли было бы слегка устыдиться за страну, где порядочная одежонка — роскошь, перчатки — роскошь, замшевая обувь — роскошь, а самая большая роскошь — тут же, не отходя от мороженщика, килограммами поглощать мороженое на каком-то «неотгороженном от города» пыльном пустыре? Но тут я отчетливо слышу, как Леонид Мартынов говорит:

— Эх ты, эмигрантишка такой, сякой. Сколько вопросительных знаков понаставил! А объяснение простое. Слова словами, стихи стихами, а понятия-то у нас партийные. Других неоткуда и взять. Да и начальство у нас есть — тоже партийное, только что в кулак не сморкается. Так что ты много не спрашивай, а пиши, да с твоего драгоценного «ведь» и начинай: Ведь уже сорок лет Россия благоденствует и русская литература благопреуспевает не дичком на вольной воле, а под неусыпной опекой высокопросвещенной, свободолюбивой и великодушной советской власти. Другого объяснения нет. И другого «ведь» тебе тоже не дано.

ЮЛИЙ МАРГОЛИН
ПСИХОЛОГИЯ ЛЖИ
(Отрывок)

Логическим основанием лжи является то, что делает ее возможной в природе человека и мира.

Психологическое основание лжи — есть то, что ее производит.

Ложь возможна, потому что на границе соображения и реальности человек не только в состоянии ошибаться, но и в состоянии вводить в заблуждение. И есть тройной корень лжи в природе человека, из которого она вырастает со слепой необходимостью: хитрость, страх и слабость.

Психологический процесс, имеющий при этом место, выглядит в основном так: физическая и духовная слабость, рано или поздно, выражается в переживании недостаточности своих сил для достижения определенных целей.

На следующем этапе возникает готовность компенсировать недостаток силы обманом: хитрость. Хитрость включает в себя опасение и страх. Страх, эмоциональное выражение человеческой недостаточности, в конкретной обстановке ведет к трусости. Страх — состояние; трусость — вытекающее из этого состояния поведение. Все мы, без исключения, сознаем недостаточность своих сил для достижения определенных целей, и потому все мы, без исключения, стоим пред потенциальной опасностью лжи. Всякая ложь заключает в себе предательство.

Психологически можно различать три формы или стадии лжи. *Человек лжет трижды.*

В первый раз лжет человек, когда его слово расходится с мыслью.

Слово лжет мысли. Когда человек думает одно, но говорит другое, чтобы укрыть свою действительную мысль от тех, кто не должен знать о ней, — то он очевидно, властвует над своими словами, или, иначе говоря, он — хозяин своей лжи. Очевидно, чтобы так лгать, надо знать про себя правду: человек поддельвающий счет, знает действительные цифры. Чтобы сознательно ввести в заблуждение другого, подсунув ему видимость вместо реальности, надо владеть собой и материалом, надо самому не ошибаться и сохранять полный контроль как реальности, так и видимости. Ложь в этом случае рациональна, рассчитана и однократна. Это «здоровая» ложь, требующая полного самообладания человека и присут-

ствия духа. Больше того: если человек сознательно дает другому фальшивую информацию, руководясь своим интересом, — напр. если он сообщает налоговому инспектору пониженную цифру годового дохода,—то названная цифра ложна по отношению к той действительной, которая ему хорошо известна и это мы обозначаем формулой «слово лжет мысли»), но с другой стороны названная цифра точно и верно соответствует замыслу и решению лгущего. Он хорошо знает о своей лжи. Он лжет другому, но не лжет себе. Его слово или поступок имеет две стороны: во-вне функцию сообщения, во-внутри функцию выражения (*Mitteilungswert und Ausdrucks-wert*). Сообщение ложно; но выражение согласно с намерением, и постольку ложь имеет характер внешний, поверхностный, не затрагивающий цельности духа.

Свидетель, дающий на суде ложное показание, знает что делает, уклоняясь от истины. Во второй стадии лжи это положение меняется. *Мысль лжет чувству*. Человек лжет самому себе. Это происходит, когда самосознание его находится в противоречии с тем, что он действительно переживает. Человек чувствует одно, а думает иначе. Здесь противоречие переносится из сферы социальных отношений во внутреннее существо человека. Наступает внутреннее раздвоение. Ложь эта опасна в той мере, в какой она уклоняется от контроля сознания. В тот момент, когда человек более не управляет своей ложью, она управляет им, и подчиняет его волю импульсам, в которых он не отдает себе отчета.

Подобно тому, как ложь пред окружением становится возможной благодаря *укрытости* внутреннего существования от ближних, так эта внутренняя ложь возникает на основе дуализма сознания и подсознания, или иначе — неполной *самоявственности* психической жизни, или еще иначе, — иррациональности ее основы. Сознанием вырезается очень небольшой световой круг во мраке и полумраке нашего бытия. Этот круг перемещается непрерывно, и с годами опыта и упражнения кристаллизуется не только то, что можно назвать прочным достоянием личного самосознания, но и особая восприимчивость разума и мысли к тому, что в человеке глубже Мысли и первоначальнее Разума, — к его иррациональным переживаниям. Возникают определенные навыки, — особая техника сознания в обращении с основными фактами и тенденциями психической действительности.

Допустим, что существуют в нашей жизни данные, которые нам неприятны, которых мы стыдимся. Допустим, что правда нашей жизни тяжела, неприемлема и невыносима для нас. В этом случае функцией лгущего самосознания становится прикрыть ее, украсить

или просто перетолковать ее. В рефлексии мы ищем рационального выражения нашей психической, в основе иррациональной, жизни. Импульс, заставляющий человека скрывать пред самим собой свои действительные мотивы, цели и переживания, есть всегда импульс осмысленный и искренний: подлинное, невыдуманное желание не признаваться в том, что составляет действительное содержание жизни. В результате является ложь. Ничто не меняется в чувствах и в порядке бытия человека, но как броня или как щит, прикрывающий страшную или безобразную правду, доходит псевдо-рациональное самовнушение лжи. Человек не знает, что он лжет, потому что *не хочет* этого знать. Если бы он *знал*, то ложь стала бы для него невозможной и бесполезной, как прозрачный щит или пронцаемая броня. — Но он более или менее *чувствует* свою ложь. Чем меньше он ее чувствует, тем она совершеннее. Когда он совсем не чувствует, что лжет, создается иллюзия полной искренности, и есть мнение, что в этом случае уже «нет лжи». Действительно, крайности совпадают, и совершенная ложь выглядит как совершенная аутентичность. Но это лишь иллюзия. Есть испытание и для таких «искренних» лжецов, когда мы можем убедиться, чего стоит и что значит их искренность.

Человек, который давно разлюбил, упорно поддерживает фикцию бывшей любви; он сам себя уверяет в том, чего уже нет в его жизни. Человек, защищающий свои классовые привилегии и власть, убеждает себя, что его побуждения идеальны и бескорыстны. За показным патриотизмом кроются трусость и эгоизм, за революционной фразеологией глубокое мещанство и неуважение к человеку. За христианской добротой волчья жестокость. За видимостью силы таится глубокая неуверенность и темное ощущение собственного ничтожества. Политик, чтобы успешнее лгать окружающим, должен прежде всего обмануть себя самого. И он последний, кто признается себе в этом, хотя для тех, кто внимательно следит за ним, часто нет ни малейшего сомнения, что пред ними лжец: человек, избегающий с величайшей ловкостью конфронтации с неприятными фактами, поступающий в полном противоречии со своими «официальными» убеждениями, не чувствующий того, что думает, не думающий того, что чувствует, не говорящий о том, что знает, и — очень часто — не имеющий понятия о том, что говорит. Однако, нет силы в мире, которая бы его заставила в этом признаться.

Сартр в своем исследовании неискренности (*La mauvaise foi*) спрашивает: как возможна цензура подсознания? Мысль, очевидно, не может контролировать темной основы нашего существования, п. ч. она *не знает* ее. Если бы она знала, это бы не было подсозна-

ние. Страж, который находится на пороге сознания и не пропускает неприятную правду, должен сам быть невидим для мысли; но как же тогда объяснить, что он не только видит во тьме подсознания, но и пропускает в сознание фальшивую репрезентацию и ложный образ того, что есть в самом деле? —

Простой ответ автору «L'Être et le Néant» на эти воображаемые трудности заключается в том, что «цензор» — только форма речи, и человек не шит из сознания и подсознания, как полотнище флага из двух полос — черной и белой. Мысль и чувство слиты; человек — единство; и тот, кто лжет, всегда человек в его цельности, так же как и в случае внешней, словесной лжи. В разбираемом случае он лжет себе самому, и это возможно потому, что в сознании и подсознании это всё тот же один человек, и раздвоение не уничтожает непрерывности и единства его психической жизни. Не надо «цензора», чтобы нечто в человеке отступило в тень подсознания или не вышло из нее. Как не надо распорядителя, чтобы люди на тротуаре двигались рядом и мимо друг друга, не сталкиваясь, и соразмеряли свои движения естественно, не думая о том, и не замечая этой соразмерности. Внутренняя ложь есть особый душевный баланс: фальшивый баланс, но всё же баланс, которым человек удовлетворяется пока возможно.

Разбирая феномен «неискренности», Сартр приходит к заключению, что она зависит от особого свойства психической реальности, которое ее отличает от реальности материальных вещей: стол или чернильница всегда суть то, что они суть, но человек есть нечто непрерывно ускользающее от самого себя, и потому можно сказать, то он «есть то, что он не есть» или наоборот: что он «не есть то, что он есть». Человек всегда как бы играет в самого себя. Есть поза в содержании его психической жизни, и в любой момент он сознает, что он находится за пределами этой позы. Так, и только так, становится понятным явление внутренней неискренности, когда человек воображает себе нечто о себе с полуподавленным сознанием неокончателности и ненастоящести этого воображения. Мысль Сартра заключается в том, что человек, в конце-концов, всегда только *воображает* себя, и *всегда* поэтому в какой-то мере неискренен. Это — парадоксальная и гротескная мысль о лжи, как о нормальном состоянии сознания. Если согласиться, что человек никогда не есть до конца то, что он есть, а всегда еще что-то сверх того, или что-то другое, и в этой неготовности, незаконченности и неопределимости до конца человеческого существования лежит его «свобода» — то выйдет, что каждое слишком категорическое самоопределение и самоутверждение человека неискренне в этой кате-

горичности и не передает правды. Надо признать, что Сартр правильно характеризует некоторые залгавшиеся и неврастенические натуры, чья психическая жизнь ослаблена, чей контакт с действительностью нарушен, и которые, без веры в себя, вечно экспериментируют, пробуют и примеряют свои переживания. Можно пойти дальше и сказать, что Сартр дает верный образ поколения, и каждый из нас, в особенности люди городской и книжной культуры, подлежат анализу Сартра. И, однако, он не окончателен. Психическая реальность в целом несводима к позе, к игре. Есть сильная страсть и есть абсолютная серьезность и «настоящность» жизни в каждом из нас.

Если психическая жизнь только частью доступна рефлексии, то, очевидно, можно сказать, что человек не есть то, что он есть, и обратно. Слово «есть» в этом определении двузначно, и относится то к самосознанию, то к дорефлективной стадии человеческой психики, которая незаметно и неуловимо для рефлексии переходит в то, что можно обозначить как «подсознание», с одной — и ясное самосознание, с другой стороны.

Чисто-словесная ложь есть орудие, которым человек пользуется сознательно, как шпагой при фехтовании. Ложь в этом случае можно сравнить с выпадом шпаги. В любой момент человек может бросить шпагу: это — продолжение его руки, но чисто-внешнее продолжение. Достаточно заменить одни слова другими — и ложь исчезает. Ложь внутренняя, основанная на произвольной уловке души, на бегстве переживаний от дневного света сознания, на укрывательстве внутренней действительности, имеет другой характер: это *грим*, маска, за которой не видно действительных мотивов — покров души. Когда запачкана одежда, человек говорит: «я запачкался». Он прекрасно *знает*, что одежда только покрывает наготу его тела и не составляет части его «я». Но это знание вне-рефлексивно. В акте рефлексии ему удобно воспринимать одежду, как часть «я». В этом случае одежда есть то, что она не есть. В каждой лжи, когда «мысль лжет чувству», она закрывает фикциями наготу человеческого существования, — и ложью эти фикции становятся, когда они не только закрывают, но и отрицают действительность — ставят себя на ее место. Тогда и происходит, что «лжет душа, что ей не нужно того, чего безумно жаль» или, в других случаях, — что ей нужно, важно и свято то, до чего ей в действительности нет дела. Но и это еще не крайняя степень лжи.

При любой лживости слова и мысли еще остается нетронутым нутро — наши естественные чувства, настоящая наша природа, — то, что мы в самом деле собой представляем. Но когда ложь дохо-

дит до глубины существования, человек начинает лгать *de profundis* — интимным качеством своего переживания — всем своим существом. Это та ложь, о которой Блок сказал: «В тайник души закралась плесень». Это — ложь тотальная: не «финта», выпад шпаги, которую так легко выпустить из руки, и не «грим», смываемый душевным усилием человека, а *горб* — органическое искривление жизни. В некоторых состояниях своих человек лжет самой искренностью, лжет неподдельным пафосом и лжет инстинктом. Ложь до такой степени укоренилась в человеке, что каждое усилие избавиться от нее еще глубже погружает в нее. Чем больше слов, тем больше лжи. Чем интенсивнее критическая мысль, чем отчаяннее попытка уйти от себя, тем больше лжи. Отравлено само основание жизни, и часто единственным выходом оказывается самоубийство. Таким, по видимому, было самоубийство Отто Вейнингера или Маяковского, который написал: «В этом мире умереть нетрудно, — сделать жизнь значительно трудней», — а потом застрелился. Формула «сделать жизнь» — лживая формула, так как жизни нельзя «сделать», это не фабричный продукт и не «конструкция». Кто пробует «сделать жизнь», стоит пред опасностью возненавидеть легкую податливость своих слов, мыслей и, в конце коцов, всего «сделанного» содержания своей жизни. Самоубийство Вейнингера и Маяковского было торжеством правды в их жизни, полной внешних и видимых триумфом. Существует ложь изменяющих своему призванию, своему назначению, смыслу и задаче своего существования. Рядом с ложью внешнего выражения и внутреннего самоистолкования жизни мы находим напряжение между тем, что есть и должно быть, между потенцией и осуществлением.

Как могут лгать переживания? — Ответ на это заключается в том, что жизнь человека никогда не исчерпывается данным переживанием, и есть в каждой жизни, достигшей известного предела, своя форма, свой образ, свой внутренний закон и направление, от которого она не может уклониться, не обманывая себя.

Когда человек верен себе, это выражается во внутренней гармонии, в уверенности его духа, в самом качестве его переживаний. Но там, где ложь входит во внутрь и отравляет направляющие силы духа, там, где человек отклоняется от того, что одно в состоянии дать его жизни полное выражение — там на поверхности является муть — и тотальная ложь прорывается в сознание всеми известными симптомами беспокойства и нервоза. Когда человек уклоняется от того, что составляет смысл, цель и действительное содержание его жизни, когда он запутывается в переживаниях, которые не освобождают, а связывают и подделывают его энергию — тогда являет-

ся чувство неблагополучия и неудовлетворенности, и это знак, что в жизни есть ложь. Последний и неподкупный судья лжи, от которого нельзя спрятаться, это чувство стеснения и страдание, уличающее тотального лжеца и преследующее его до конца жизни — или до того чуда «преображения» или «обращения», до того *полного душевного переворота*, который опрокидывает человека и превращает его в новое существо.

Примечание: Смерть Маяковского — представляет один из самых любопытных случаев для исследования лжи. Человек, убивший Маяковского был «контр-революционером», поднявшим руку на ведущего советского поэта-главаря, оказавшего великие услуги режиму. Он был человеком «мещанского» строя души, исходившим из своих личных переживаний. Человеком, убившим Маяковского был — сам Маяковский. Свой поступок он совершил не в состоянии невменяемости, а трезво и обдуманно, написав все нужные письма и постаравшись, чтобы его облик «поэта-большевика» остался ненарушенным для потомства. Можно ли сказать, что были два Маяковских? Нет — был только тот один Маяковский, сильный и настоящий поэт, которого мы знаем по его произведениям, полным подкупающей искренности. «Другой» же Маяковский выразился только в одном, но решающем поступке: он убил первого. Этим доказано, что мысли и переживания с такой «большевистской» силой выраженные Маяковским, не были в нем единственными. Если они не были единственными, то не были и настоящими. Самоубийство не было бы возможным, будь Маяковский действительно таким, каким он себя показал в своем полном «революционного оптимизма» творчестве. Это творчество глорифицирует массовое и коллективное самоощущение человека, мажорное и brutальное, — и самоубийством, которое с ним не находится ни в какой внутренней связи, оно разоблачено, как тотальная ложь, из которой поэт вырвался единственно революционным и бунтарским актом своей жизни.

Самоубийство реабилитирует человека Маяковского, который всю жизнь «искренне» и сам в свое творчество «веря», расходился с тем, что в нем было настоящего, пробуя соединить несоединимое: лояльность советского патриота с поэтическим призванием. Тотальная ложь в искреннем советизме Маяковского не раз давала трещину, как в этих строках:

Я — работник искусства. Оно
Подданное МОНО.
Я не ною.
Под Моною, так под Моною.

Никакой настоящий коммунист не мог бы написать этих строк, где есть нечто худшее, чем нытье: удивление пред гротескной невероятностью собственного подданства. Этот «боковой взгляд» на себя можно найти и еще кой-где у Маяковского.

Ненастоящсть поэтического существования, которая, в конце концов, стала невыносимой, привела поэта к катастрофе. Но даже в минуту смерти он не мог решиться сказать об этом вслух.

«Официального Маяковского», который ему самому уже не доставлял никакого удовлетворения, он оставил в целости потомству и до последней секунды не был в состоянии сказать слова в противоречии с громадой его написанных слов. Иначе жить, чем жил, он уже не мог; но и продолжать эту жизнь не хотел. Смерть Маяковского, если не считать ее освершенно бессмысленной и замалчивать ее, как делают официальные мастера советской лжи, дает неожиданное «раскрытие» всему его творчеству, как трагической клоунаде, которая зашла слишком далеко.

АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ РЕМИЗОВУ

Ко дню его восьмидесятилетия

Алексей Михайлович Ремизов — верноподанный Русского Языка и он же — великий мятежник, неистовый смутьян в обширном царстве Русского Слова;

Ремизов — Русь, Россия и корни их — славянские, еллинские, и он же — Запад, романский, германский и древний — кельтский;

Ремизов — хор голосов мертвых и живых, и он же — единственный и неповторимый *свой* голос;

Ремизов — творящий дух, творящее слово, и он же — наш удивительный, ни на кого непохожий современник — неопиcуемый, неисчерпаемый Алексей Михайлович.

Редакция

АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ СЛАВА

Есть дешевая слава и есть дорогая — та, что покупается дорогóй ценой, ценой отказа от всего, чем достигают быстрой, громкой, широкой и дешевой славы. Бывает, попутно с дорогóй, улыбнется писателю и слава подешевле, но если он искал ее улыбок, пусть и довольствуется ими: большего ему не откуда ждать. Ремизов улыбок не искал, спины перед читателем не гнул, ни с каким спросом не считался. Дешевой славы не видал бы он, вероятно, даже если Россия звалась бы еще Россией и если вторую половину жизни прожил бы он не в Париже, а в Москве. Зато когда Россию еще не переименовали и когда было ему сорок лет, а не восемьдесят, как сейчас, уже дана ему была та слава, что только и достойна называться славой, и был он признан теми, от кого

такое признание зависит, одним из первых русских писателей своего времени. Славу эту с тех пор он не растерял, а приумножил; уже и на Западе, если знают нашу литературу, то не мыслят ее без Ремизова. Мы же, малая горсть, рассеянная по свету, тех, кто еще вслушивается в слово и отличает почерк от машинной скорописи, мы его чтим и славим за пристальность взгляда, за строгую взвешенность речи, за мудрое владенье сокровищем нашего языка. Имя и отчество его мы повторяем про себя с любовью; помним: те же они, что того царя, при котором цвела вязь да узорочье и углем рдели в сибирской стуже аввакумовы буйные письма.

Слава Алексею Михайловичу!

Ремизову слава!

На все времена, пока жив будет русский язык.

В. Вейдле

Мне случайно попала в «еспартийно-национальном» журнальчике «Русский в Австралии»¹ забавная заметка: «Какие книги читает русский эмигрант». О Бунине там сказано: «его читают главным образом молодящиеся дамы из старой эмиграции. Остальным клиентам (австралийских библиотек) он неприятен и вызывает единодушное удивление: и за что только ему дали премию Нобеля». После Бунина там же и о Ремизове: «Трудно говорить о Ремизове, как о русском писателе. Пишет он на собственном языке, понятном только ему самому и разве его маме».

Узнав из этой же заметки, что, не в пример Бунину 100%-ой популярностью пользуются среди австралийских читателей Шмелев, генерал Краснов и некто Бойков, автор «Сокровища сердец», очевидно по глубокой несправедливости нобелевской премией обойденный, я вдруг ощутил жуткий хо-

¹ См. номера 1-2-3-4 за 1957 г. Во всех книжках на странице 1-ой обозначено: «еспартийно-национальный журнал, обслуживающий (sic!) интересы русских в Австралии». Ясно: не опечатка, а уточнение «общественной платформы».

лодок. Ведь если вдуматься «еспартийный австралиец» выражает не только мнения и вкусы своих идейных друзей. Ну, о Бунине ерунда, юмористика, выходка идиота, но Ремизов... Ведь, в сущности, — отношение к Ремизову и в дореволюционные времена и в эмиграции — очень недалеко ушло от мнения австралийского библиотекаря.

Конечно, существовали и существуют люди, почитающие Ремизова тем, чем он был и есть: волшебным художником слова, писателем неисчерпаемой словесной и духовной самобытности. Так воспринимали Ремизова Блок и Гумилев, А. Белый и Вячеслав Иванов. Но т. н. «Высокая словесность», пресловутая «общественность», «влиятельная критика»? От первых выступлений Ремизова до вызывающих грустное недоумение (чтобы не сказать больше) иных появившихся теперь в повременной печати приветствий к ремизовскому юбилею, — что получил Ремизов, кроме снисходительного непонимания за свою долгую творческую жизнь? В России он был всегда где-то «сбоку-припёку», вне «большой литературы» — вне больших издательств, вне «солидных журналов», не скажу вне читателя, но, конечно, читаемый далеко не так, как он это заслужил и заслуживает — своим исключительным даром. Так было в России, так есть и в нашей «охраняющей русскую культуру» эмиграции. Перелистайте каталог Чеховского издательства, отлично знавшего, что столы и сундуки Ремизова завалены его драгоценными для русской литературы рукописями. Просмотрите эмигрантские журналы и времен эмигрантского довоенного (расцвета) и нынешнего времени! Ремизов всюду и всегда на третьем месте, в отрывках, явно с неохотой печатаемый, с оглядкой на читательскую психику. И это писатель, место которого (по определению Гумилева) «высоко-высоко над всеми остальными — где-то между Гоголем и Розановым».

Как пример «стандартного» отношения к Ремизову приведу случай из собственной литературной жизни. В 1916 году, в Петербурге, начала выходить «Русская Воля» газета «американского размаха» — всё «самое лучшее» от объема до «имен» и гонораров. Я был тогда всего лишь 20-летним сотрудником «Аполлона», но очевидно по принципу «у нас на все стили хватит», приглашения сотрудничать в «Русской Воле» удостоился и я. Леонид Андреев, бывший литературным редактором, заявил мне: «пишите, что и как хотите, мы вас не стесняем». Но, когда я предложил «для дебюта» статью о твор-

честве Ремизова, прославленный автор «Анатемы» энтузиазма не проявил. «Пожалуйста, если хотите... но с другой стороны... лучше бы...». Я всё-таки настоял. Написал статью и стал ждать ее появления. Но вместо этого был неожиданно вызван, минуя Андреева, к «самому большому начальству» — к главному редактору «Русской Воли», профессору Гримму.

Гримм был утонченно любезен. Однако, с сожалениями и комплиментами — вернул мне мое писание. «Как заказанная Леонидом Николаевичем, рукопись, конечно, будет оплачена»... Но ни в коем случае «этого» мы поместить не можем... «С высоты» своего, казавшегося мне тогда наивысшим в мире, звания постоянного сотрудника «Аполлона», заместителя Гумилева, я от души презирал тогда и авторитет Гримма и всероссийскую славу Леонида Андреева. Сотрудником «Русской Воли» (по совету того же Гумилева), я, впрочем, остался. Но с тех пор писал там исключительно о стихах, — в этой области ни Гримм, ни автор «Анатемы» никаких препятствий мне не ставили.

Теперь, на старости лет, я понимаю и негодование Гримма, и неудовольствие Андреева. Долгий опыт литературной жизни, давно разрушил мои юношеские иллюзии. И я отлично вижу, что моя тогдашняя статья о Ремизове была попросту «пощечиной общественному мнению». Достаточно сказать, что она начиналась так: «Когда я впервые прочел ремизовский «Пруд» и, особенно, гениальный «Неуёмный бубен» я испытал то же чувство, что Стендаль перед Байроном — «желание поцеловать руку, написавшую это...».

Прибавлю, что хотя я и отдаю себе отчет в несуразности моей тогдашней попытки поставить «единым махом» Ремизова на соответствующее место — он для меня и по сей день остается тем же лучезарно-чудесным учителем прекрасного и славой русской литературы.

Еще прибавлю, для меня мало знающих, что излишней восторженностью я никогда не отличался и к большинству моих современников — хотя бы и весьма превознесенных — отношусь скорее как Грушенька Достоевского: «А я вам, барышня, ручку не поцелую».

Георгий Иванов

Дорогой Алексей Михайлович,

В коротком письме нельзя дать удовлетворительной оценки писателю Вашего своеобразия и разнообразия, Ваших литературных размеров. Для этого нужно писать статью (какими критика Вас за последнее время не баловала). Те, кто умеет Вас читать (а искусство это небольшое — надо читать медленно и губами), знают какое редкое наслаждение приносят Ваши книги. Но не об этом нужно говорить в день Вашего восьмидесятилетия. Говорить следует о том «долгу», в каком перед Вами находится культурная эмиграция. Неловко становится при мысли, что писателя, украсившего своим именем русскую литературу, не ценят как следовало бы. Его замечательное послевоенное творчество не получило должного отклика: раздаватели патентов на бессмертие не увидели необыкновенной красоты «Мелюзины», прошли мимо «Мышкиной дудочки», этого учебника гуманизма и едва заметили «Огонь вещей», последнее слово о Гоголе.

Еще более неловко, что больше дюжины Ваших книг до сих пор ждут издателей. В день Вашего юбилея уместно напомнить им об их преступлении.

А что Ваши строки — бесконечный источник удовольствия, жизнь же Ваша — пример для молодых писателей, об этом можно и не писать. Это ясно.

Ваш читатель

Владимир Марков

БИБЛИОГРАФИЯ

Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium edited by W. Lednicki, 1956. University of California. Berkeley and Los Angeles, p.p. 626, price \$7.50.

Адам Мицкевич (1798-1855) — великий поэт и великий гражданин. Четверть века (1830-1855) он был духовным вождем польской Великой Эмиграции. Поэзия его стала частью польского языка, польской души. Во вступительной статье к сборнику поэт Ян Лехонь говорит о диапазоне Мицкевича-поэта: ему ведомы были и тайны поваренного искусства в родной польской Литве и тайны пророческие, апокалиптические; и он, «классик» и «романтик», раскрывает их в своей поэзии, отзываящейся и на «низкое», и на «высокое». На рубеже двух столетий поэты-модернисты «Молодой Польши» поклонялись мастеру чистой поэзии Юлиушу Словацкому («ангелу и дэнди»), современнику Мицкевича, но и последний продолжал сиять на польском Парнасе и в польском быту.

Редактор сборника проф. В. А. Ледницкий, лучший знаток польско-русских литературных отношений, поместил подробный очерк «О пребывании Мицкевича в России и о дружбе его с Пушкиным». Уже Я. Третиак и Валерий Брюсов сопоставляли *Медного Всадника* с фрагментами из *Дзядов* Ш. Если Мицкевич петербургскую российскую империю осуждает, то Пушкин — возвеличивает:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия...

Ледницкий убедительно разъясняет, что «*Медный Всадник*» есть творческий ответ Пушкина Мицкевичу, с которым он дружил в 20-х гг., в Москве; но позднее их обоих разъединило польское восстание 1830-31 гг. Однако, «*Медный Всадник*», не может быть сведен к спору Пушкина с Мицкевичем (чего Ледницкий и не делает). Ближе всего к разгадке этой «петербургской поэмы» был Г. П. Федотов: для него Пушкин — «певец Империи и свободы»; обе эти реальности вдохновляли его, но тождества между ними не было и

быть не могло; их неслиянность, антитетичность пушкинская поэзия (включая *Медного Всадника*) и отражает; а от окончательного суждения Пушкин воздерживается. Ему дорог был и Петр, царь-западник, строитель Санкт-Петербурга, и ему дорога была свобода — безграничная, как морская стихия.

Очень содержателен очерк проф. Г. П. Струве о русских переводах из Мицкевича. Далее следуют статьи о Мицкевиче в Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Англии, Америке, Скандинавии, Голландии, Литве, Украине, Чехословакии, Югославии, Словении, Венгрии, Румынии, о еврейских переводах и биографический очерк проф. В. Вейнтрауба. Выделим статью Ши-Хсянг-Чена о Мицкевиче в Китае. Здесь перед нами приоткрывается совершенно незнакомый мир. В начале нашего века Китай начал понемногу усваивать культурное наследие Европы. Китайский «западник»-либерал, Лу-Син (1881-1936) включает в европейский пантеон поэзии и славянских поэтов, Мицкевича и Словацкого, Пушкина и Лермонтова. Пушкина он осуждает за «зависимость от царя» и противопоставляет ему Лермонтова, который любил Россию за ее «естественные красоты», а не за «историческое величие» (Люблю отчизну я, но странною любовью...). Более ж всего Лу-Син восторгается Мицкевичем — национальным поэтом-борцом; он не читал *Пана Тадеуша* в оригинале, но есть тонкость, проникновенность в его понимании этой поэмы; так, он выделяет сцену охоты, его восхищает Пан Войский, трубящий в волшебный рог (это лирическое описание — музыкальный ключ к *Пану Тадеушу*).

В сборник включен очерк В. Ф. Ходасевича. Он вспоминает, что для него, полу-поляка, Мицкевич был святыней его детства и «перекликался» с другими святынями — Богом, Польшей. Этот очерк хотелось бы сопоставить с воспоминаниями М.-К. Павликовского (в том же сборнике): *Живой Пан Тадеуш*. Автор вырос в атмосфере близкой Соплицеву (описанному в поэме Мицкевича). За сто лет многое изменилось в польской Литве, но старые традиции еще сохранились и в начале 20-го века. В воспоминаниях русского поэта и польского писателя Мицкевич *продолжает жить*. Оба они, хотя и в разной обстановке, выросли под сенью польского барда: их детство было одухотворено его поэзией, его легендой. Может быть, стихи пишутся преимущественно для таких вот счастливых читателей...

Ю. Иваск

ЕЛИЗАВЕТА БАРРЭТТ-БРАУНИНГ. *«Португальские сонеты».* Перевод *Михаила Цетлина и Игоря Астрова.* Предисловие *Георгия Адамовича.* Нью-Йорк, 1956 г. Стр. 96.

Несмотря на то, что в переводе стихи всегда утрачивают соответствие ритма со словами того языка, на котором они возникли, наша русская традиция, с Жуковского начиная, учит нас переводить стихи непременно стихами, по возможности — тем же размером.

Михаил Цетлин и Игорь Астров, переводчики знаменитых «Португальских сонетов» Елизаветы Баррэтт-Браунинг, остались верны этой традиции, несмотря на все трудности перевода с английского на русский, и, в общем, успешно справились со своей нелегкой задачей.

Им пришлось, конечно, пожертвовать многим, — прежде всего абсолютной близостью к подлиннику, как в смысле размера, так и в отношении дословности перевода.

Они стремились, главным образом, сохранить самое важное, т. е. дух каждого сонета, общую его эмоциональную атмосферу, смысл главнейших образов, позволяя себе в остальном, менее важном, по необходимости, ряд отступлений, пропусков или, наоборот, добавление каких-нибудь слов, с целью яснее передать своеобразный, сложный, порой даже прихотливый, насыщенный религиозными отвлечениями и восторженностью, текст подлинника.

Для удобства читателей, знающих английский язык, издательство поместило против каждого русского перевода английский текст, предоставив тем самым возможность сличить каждую русскую строчку с оригиналом.

Чтобы наглядно показать метод работы переводчиков, сравним для примера две начальных строфы из сонета 28-го на странице 63-ей.

Сонет начинается по английски так:

My letters! all dead paper, mute and white —
And yet they seem alive and quivering
Against my tremulous hands which loose the string
And let them drop down on my knee to-night.

По русски:

О пачка писем! мертвая, немая!
Какая дрожь пронзила их покой,
Когда листки из связки вынимая,
Я их роняла трепетной рукой...

В этом четверостишии, как мы видим, кое-что сдвинуто, кое-что сокращено и пропущено, но в общем, несмотря на иной размер, основная нота, чувство и основные образы сохранены и строфа, в главном, передана верно.

Среди 44 переводов 44 сонетов этого цикла, кое-где, неминуемо, русские слова не могли до конца сохранить свежести и остроты слов подлинника, например, строка: «Ряд горьких лет, чьей скорбью вечно стражду» — звучит тяжело, а — в другом сонете, слишком торжественно получилось: «И в каждой зрит слезе как плачу я за двух», но в общем язык переводов почти всегда стройный и благозвучный:

За золото и пурпур твоего
Нетронутого сердца, благородный
Мой друг, за дар твой царственно-свободный,
Что дам взамен? Ужели ничего?..

(Сонет 8-й)

или:

...Как пчелка, с детства я заключена тоской
В мрак одиночества, как в восковую келью...

(Сонет 15-й)

Таких удач на протяжении всей книги можно отметить много. В своем «Предисловии» к циклу «Португальских сонетов» Георгий Адамович, сделав в сжатой форме биографический очерк жизни Е. Баррэтт-Браунинг и истории «Португальских сонетов» высказывает интересную мысль о том, что в произведении английской поэтессы «чуть ли не за три четверти века есть предчувствие стиля и склада поэзии Рильке».

Отметим также, что Михаилу Цетлину и Игорю Астрову принадлежит заслуга быть авторами первого перевода на русский язык одного из выдающихся произведений английской поэзии девятнадцатого века.

Ю. Терапиано

АЛЕКСАНДР ГИНГЕР. *Весть*, изд-во Рифма, Париж 1957 г., стр. 35.

Весть — четвертая книга стихов Александра Гингера, первая вышла в 1922 г., тоже в Париже, как и другие его книги. Гингер — уже «старый парижанин», но едва ли его творчество для русско-парижской поэзии характерно. В Париже, в особенности в 30-х гг. «культивировалась» простота, а Гингер — не прост. Он

риторичен и склонен к стихотворным экспериментам. Его традиция державинская и отчасти футуристическая. Именно поэтому в Париже его как-то чуждались, хотя и признавали. Риторическая поэзия имеет плохую репутацию. От риторики часто «веет холодом», но не всегда. Риторические эффекты, жестикуляция могут быть внутренне оправданы и «согреты» страстностью, темпераментом. Эти стихи Гингера — очень искусно-выверенные, торжественно-патетические волнуют и легко заучиваются наизусть:

Эстафетный бег являет взорам
зрелище, которому найти
невозможно равного; с которым
муза, не тебе ли по пути?

Муза Штейгера — тихо, почти неслышно напевающая Золушка, а муза Гингера — громкая, *важная* (в значении не современном, а в том, которое *важности* придавалось в 18-м веке). Гингер — торжественно-вещающий энтузиаст этой своей *важной* музы. Зубоскалов она рассмешит, но посмеяться легко над любыми стихами, — ведь поэзия самое условное, наиболее искусственное искусство...

Казалось бы, столь далекий от суеты и всяких вообще «торжищ», Гингер неожиданно что-то в послевоенных настроениях, в «духовной ситуации» эпохи уловил. В стихотворении «Сестры» находим очень традиционную, почти шаблонную строку:

Ты знаешь, мы в бреду, и все — туман и страх...

Это «перепев» старых русско-парижских мелодий. Тем разительнее следующие замечательные строки:

Но празднуй всем богам за то, что ты не болен,
что ты еще здоров, еще свободоволен
и к небесам взлетать и опускаться в прах.

Стихотворение это помечено 1948 годом.

После I Мировой войны наступило разочарование, ибо действительность 20-х гг. обманула все романтические ожидания. Перед II Мировой войной и в годы этой войны почти никто «хорошего конца» не предвидел. Многие из оставшихся в живых в 1945 году изумились, что мир не погиб, еще не погиб, что еще что-то осталось, хотя бы и руины. К тому же вскоре «нависла угроза» III Ми-

ровой войны. И вот «рассудку вопреки, наперекор стихиям», разложенным стихиям атомной эпохи — кое-кто неожиданно решил творчески «приятать» не Бог весть какое настоящее, ибо иллюзии, связанные с наступлением лучшего будущего исчезли, а у многих их и не было. Да, да, как это ни странно — «ты еще здоров, еще свободоволен»!.. И не есть ли это изумление, преисполненное благодарности — «залог» будущего, которое окажется лучшим, чем можно было ожидать.

Ю. Иваск

ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ. *Двенадцать месяцев*. Рифма. Париж. 1956, стр. 87.

Впервые взглянув на заголовок книги Червинской, читатель-любитель стихов поневоле договаривает:

Двенадцать месяцев поют о смертном часе...

Червинская вероятно именно эту поэтическую ассоциацию и хочет вызвать: и именно этой «ключевой» строчкой начинается одно из её стихотворений (на стр. 65).

Во всех двенадцати отделах стихотворного месяцеслова Червинской звучит лейт-мотив *смертного часа*. Но об этом смертном часе стихи ее не поют (как у Мандельштама), а говорят. Бедность мелодическая в стихах Червинской — не от недостатка таланта. Червинская — даровита. Нет *пения* и в поэзии другого замечательного представителя «незамеченного поколения», у Штейгера, которому она близка внутренне, а иногда и стилистически. Эти строки из «воскресных» стихов Червинской: «Те, которым на вокзале стыдно счастья пожелать» — звучат совсем по штейгеровски. Или приведем другой пример: «Резко, близко прозвучал свисток. Вот оно: конец».

По собственному признанию «безголосым соловьем» был Иннокентий Анненский. Но этот «безголосый соловей» — изумительный, единственный: его теперь едва ли кто-нибудь променяет на голосистого Бальмонта, звонкого «до неприличия», пустозвонного. Кое-кто не променяет Анненского и на Блока. Если Блок — это *пение*, музыка (и никто в этом сомневаться не может), то *не-пение* Анненского, его тоска по песне — это то же поэзия, не в меньшей степени поэзия, хотя она и не захватывает нас стихийностью, музыкальным «напором».

Червинская (как и Штейгер), конечно, — от «безголосого» Анненского. Это поэзия поздних сожалений, упреков совести и жесто-

кого ума. Всё это Червинской хочется иногда отвергнуть: «Не надо поздних сожалений, (упреков совести не надо,) не верь жестокому уму...», — закликает она. Но что бы она ни говорила, её стихи полны именно этими сожалениями, упреками и этой интеллектуальной жестокостью. С какой безжалостной скрупулезностью она всё анализирует... оттого стихи ее часто звучат, как проза. Каждое ее стихотворение есть отрывок диалога или монолога последних «русских мальчиков», которые в Париже до бесконечности анализировали то, что вдохновляло когда-то братьев Карамазовых. Вот очень характерные отрывки этих монпарнаских бесед 30-х гг. (в стихах Червинской): «кто судит, по какому праву»; «мы не заметили начала, не будем подводить итогов»; «нам безразлично всё и жалко всех»; «и далеко не вздор страх одиночества и смертная тоска»; «теперь остались только ты и я — но у тебя и в этом есть сомненье»; «а мы по своему живем с закрытыми глазами»; «для нас Свобода — людный мир пустой и одинокий подвиг созерцанья» (последние строки могли бы быть — эпиграфом к ее сборнику). А вот фразы, которые в другом контексте были бы нестерпимы, но у Червинской их оправдывает «типичность»: «к чему теперь мечты пустые?» (Но любовь, которая «изменчива как море» едва ли может быть оправдана, такая любовь «уместна» лишь в стихах какого-нибудь Фруга...) Очень характерно следующее признание: «Мы больше ни о чем не говорим» (стр. 13). Оно явно неправдоподобно; и, действительно (на стр. 75) читатель находит его опровержение: «Мы до утра беседуем опять».

Всей этой, может быть и несносной, но гением Достоевского освященной бестолковщиной — книга Червинской насыщена-перенасыщена до отказа. К тому же совершенно очевидно, что без этой вот бестолковщины то, что именуется русской культурой, было бы обеднено на треть, на половину или даже более, чем на половину. Европейский и американский универзум, признав и возвеличив Достоевского, именно эти бесконечные разговоры и принимает за русскую культуру (тогда как «толковый» Пушкин остается для этого универзума величиной неизвестной или малоизвестной). Пусть парижанам — далеко до Достоевского, но «договаривали» они в 30 гг. именно его (а их кумиры, Блок и Анненский оба столь противоположные, претворяли его романы в поэзию).

Штейгер умел всё это многословие последних русских мальчиков сжимать в пяти-шести строчках. Стихи Червинской — недлинные (в 20-24 строки), но сжатости в них нет. Однако, для предвоенного Парижа они более характерны, чем штейгеровские. Червинской удалось очень верно передать в стихах атмосферу и «жаргон»

русского Монпарнаса 30-х гг. Ее поэзию можно также воспринимать как комментарий к статьям Адамовича, который утверждал, что не изменяя духу поэзии, стихи «опрозаивать» можно и даже должно. И он был прав, потому что угадал «дух времени» или одну из тем «незамеченного поколения» (одиночество на фоне прозаического эмигрантского быта). И это он всегда советовал *обливать* поэзию *серной кислотой* анализа; и облитому или облившемуся этой ядовитой жидкостью поэту было уже не до песен! Он превращался в калеку, который никого уже «игрой искусства» осчастливить не может. Червинская это понимает: вообще из поля ее зрения ни одна из современных реальностей не ускользает.

Иногда Червинской надоедают бесплодные разговоры, ей как будто хочется запеть, ей хочется игры — т. е. той условности, без которой искусство едва ли возможно. В одном стихотворении (ноябрьского цикла) она «отдается» мелодии:

В ноябре, в тишине воскресения,
ты придешь — сам не зная зачем.
Принесешь мне фиалки осенние
или яркий букет хризантем.

Но музыка — чуждая ей стихия (все вообще стихии ей чужды)... Червинской удалось это совсем новое по тону стихотворение:

Будьте вежливы с цветами,
с насекомыми, мечтами,
с книгами, со сковородой,
с музыкой, машиной...

Здесь есть неожиданная легкость, есть улыбка, есть игра (в повторении императива «будьте вежливы»); есть, наконец, прелесть. Разговоры ни к чему не приводят и надоедают монологи о том, что «лишь сомнение может убедить». Так и Андре Жида сомнения ни в чем не убедили, хотя они, может быть, и более реальны, чем вера его друга-опонента Поля Клоделя, которому кажется никого, кроме себя самого, спасти не удалось. Как бы там ни было, искусство должно одарять и (да не убоимся мы этого кажущегося легкомысленным утверждения) — оно должно *развлекать* (по Аристотелю). Развлечения — не спасают, но есть в них крупинки (и не малые) самого убедительного добра. И если ни себя и никого вообще спасти нельзя, то отчего же не развлечь ближнего, особенно при наличии таланта...

Есть прелесть, радующая прелесть в отдельных наблюдениях Червинской:

Звон цимбальный, еле уловимый
Страсбургских колоколов.

Или:

Юг, добрый юг... Тот, кто не ждет награды,
Кто неудачлив, болен, грустен, стар,
о ком не помнит враг, кому друзья не рады,
тоскует *так* по свету твоему...
Нет в мире равного ему.

Здесь прозаическое перечисление *людей выбывших из строя* оживлено безхистростным восклицанием (Юг, добрый юг...) и ладной звуковой упругостью последней строки (нет в мире равного ему).

Червинская умна, и именно поэтому она не боится тех милых (развлекающих) пустяков, которыми ни великие, ни малые поэты никогда не брезгали. Но в этой последней ее книге прелестных пустяков всё-таки меньше, гораздо меньше, чем глубокомысленных и иногда очень нудных разговоров о самом главном.

Ю. И.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 1956 г. Изд-во «Московский Рабочий». Стр. 202.

Огромная малиновая тетрадь с подписями нескольких десятков поэтов. Пропагандных стихов мало, сравнительно мало. Это хорошо. Но плохо, что стихи в большинстве «серые»; это как-будто признается и некоторыми критиками, поместившими статьи в последней части этого сборника. Одна из них называется «В защиту лирической индивидуальности» и посвящается стихотворчеству молодого поэта Леонида Мартынова. Его стихов в книге почему-то нет, но судя по приведенным там выдержкам Мартынову есть что сказать. Он пишет: «Смерть моя все ближе и ближе... Жизнь кратче и кратче, / А на небе всё тучи и тучи, / Но всё лучше мне, лучше и лучше, / И богаче я всё и богаче. / ...Говорят я добился удачи...». Что-то в этих неповоротливых стихах подкупает (и их *оптимизм в пессимизме* ничего общего с официальной идеологией не имеет). Запомним это имя: Мартынов! Я лично «возлагаю» на него надежды, но могу и ошибиться...

Экспериментализм поэзии 20-х гг., повидимому не возрождается. За новизной погнался кажется только Кирсанов (р. в 1906 г.). Его забавляет «сказ раешника» (которым написана пушкинская сказка о Балде): «Есть «Свояси» — значит есть и «Мояси». Веди

же меня во твояси...». Стихи Пастернака и Заболоцкого — слабые подражания их же собственным стихам. Прекрасно горестное стихотворение Ахматовой о трех эпохах воспоминаний (белые стихи):

..... мы сознаем
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Всё к лучшему...

Здесь — закаменевшее отчаяние, перед которым можно только поклониться.

В книге находим 12 стихотворений Цветаевой — все они были написаны до её возвращения в Россию и многие были уже опубликованы. Это не лучшие ее стихи. В одном из них Цветаева обличает читателей газеты и «редактора газетной нечисти»: и, замечательно, что из этого стихотворения никак нельзя вывести, что она осуждает «буржуазную прессу»... Появление её стихов в советском сборнике нельзя не приветствовать. Хорошо, что в России опять будут читать Цветаеву, но ужасно что её там не уберегли.

Знатоки советской литературы вероятно смогут нам разъяснить все политические секреты «Дня поэзии»: почему туда попали именно эти поэты, а не другие; и почему в нем появились эпиграммы на недавних кумиров — Симонова, Долматовского. Здесь же, хотелось бы и в плане литературном, и в плане человеческом что-то понять или же подметить какие-то новые тенденции, — еще приглушенные, но существенные. Ошибиться — легко, но кажется у некоторых поэтов есть тяготение к правдивой простоте. В этом смысле особенно значительно четверостишие Маргариты Алигер (она род. в 1915 г. и начала печататься перед войной):

Что за ночь на свете, что за ночь!

Тихо как...

Сейчас случится чудо.

Я услышу голос твой:

«Мне худо!

Приходи... Ты можешь мне помочь». (1953 г.).

Может быть здесь есть символика: эта ночь — ночь России. Но и без всякой символики это стихотворение прекрасно, совершенно и неожиданно перекликается с поэзией Анатолия Штейгера. Кто знает — может быть именно здесь, в этой благородно-скупой человечности — зерно будущего.

А. Б.

В. В. РОЗАНОВ. Избранное. Вступительная статья и редакция Ю. П. Иваска. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк. 1956. Стр. 412. Printed by Rausen Bros.

Розанов считал, что полное собрание его сочинений должно занять томов 30, если не больше. «А если избранное и лучшее — тома на три». Ю. П. Иваску пришлось ограничиться одним томом, но томá бывают разные, и довольно увесистая книга, выпущенная им, по объему может быть не так уж далека от трех томов, мерещившихся Розанову. Что до отбора, то кто же с уверенностью может сказать, что Розанов в своих писаниях признавал «лучшим»? (К тому же суждение авторов тут очень часто расходится с оценкой читателей, даже современных, не говоря уже о потомстве). Что существенно в данном случае, это дать читателю возможность составить себе по избранному материалу достаточно полное и верное представление о Розанове. Никакой сколько нибудь стройной системы Розанов, как мыслитель, не создал, мышление его неорганизовано и, в сущности, фрагментарно, несмотря на то, что в его литературном наследии есть ряд книг, написанных как будто на одну тему, напр., «Легенда о Великом Инквизиторе» или «Люди лунного света» (большую часть книги его — только сборники газетных статей). Таким образом составителю не приходилось думать о том, чтобы целостное, догматическое творчество воспроизвести, как бы в миниатюре, при помощи выкроенных из контекста лоскутков, как это вынуждены иногда делать составители подобных сборников. Но отбор все таки был необходим, и чтобы его произвести, надо было поставить себе вопрос: чем, какими своими качествами Розанов заслужил занять место в русской литературе?

Может быть, последняя правда о Розанове заключена в собственном его признании: «Бог послал меня с даром слова и ничего другого еще не дал. Вот отчего я так несчастен». Конечно, «дар слова», т. е. литературное, словесное, стилистическое дарование Розанова, необыкновенно. Он действительно (опять таки говоря его же словами) «ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутины быта». В умении поверять бумаге самое ничтожное и самое интимное он едва ли имеет себе равных, по крайней мере в русской литературе. Однако, если верно, что ничего другого Розанову дано не было, то можно поверить ему, что такое сознание делало его несчастным. Хотя автор «Уединенного» как будто и не дорожил судом потомства, (не он ли допустил только один вариант памятника себе: «показывающим зрителю ку-

киш»?), но разумеется, литератор до мозга костей, притом эгоцентрический в мере, превышающей среднюю, как она ни высока в мире людей причастных к искусству, должен же был он о месте своем в русской литературе задумываться. И тут, с его умом, с его чуткостью, он не мог не понимать, что для того, чтобы уцелеть как писатель, чтобы проникнуть в Пантеон литературы, требуется нечто большее, чем одно словесное мастерство. Нужно что-то свое, новое — мысль или образ, или хотя бы только *un peu de frisson* — человечеству принести. На каком-то этапе своей писательской эволюции Розанов, верно, понял, что идеологическое содержание его творчества не способно обеспечить ему литературного бессмертия, уже по одной той причине, что во всем им написанном едва ли найдется хотя бы одно утверждение, которое не нейтрализовалось бы утверждением, противоположным. Он сам признавался в том, что твердых принципиальных позиций, он ни в чем не выдерживал («я свои 'убеждения' менял, как перчатки», «я не хочу истины, я хочу покоя» и т. п.). Не мог он не сознавать и того, что те его мысли, которым он как будто оставался в общих чертах верен, не нашли настоящего отклика в обществе, к которому они были обращены. В целом, оно оставалось глухо к его проповеди божественности Пола и даже к его культу семьи. Несомненно, что интерес Розанова к сексуальной сфере был подлинный, и, быть может, не по случайному совпадению почти одновременно с ним начал свои изыскания в той же области Сигмунд Фрейд. Повидимому какая то фаза в эволюции европейской культуры вызвала повышенный интерес к сексуальной жизни. Но в то же время как Фрейд, ученик Шарко, при всей спорности некоторых из его начальных спекуляций, оставался ученым, оперирующим фактами и наблюдениями, Розанов увлекался своего рода метафизической игрой, причудливой и произвольной. Кого, например, могло убедить его утверждение, что «узел мира бесспорно в 4-5 sexual'ных аномалиях, и по ним может быть прочитан» («Религия и культура»). К этому присоединялось еще и другое: у читателя не могло быть уверенности, что повышенный интерес Розанова к проблемам Пола из источника чистого. Слишком много было в написанном им по этому вопросу скабрёзных отступлений и даже прямого смакования некоторых деталей. Не говорю уже о таких его проектах, как священная проституция, или замена порнографических фотографий снимками супружеских объятий.

Но, скажут, если в своих теориях о божественности Пола Розанов не сумел выйти на большую дорогу европейской мысли, как это сделал создатель психоанализа, то остается его религиозный

опыт. Да, конечно. Но в конце концов и здесь были только вспышки мысли — иногда ослепительные, — блуждающие чувства — иногда необыкновенной интенсивности, вечное шатание, любовь-ненависть к церкви, перемежающиеся отталкивание от христианства и притяжение к нему. Словом, уникальное явление, но едва ли истинное обогащение религиозной мысли. Слишком все это капризно и индивидуально. «Мой Бог» — особенный. Это только *мой* Бог, и еще *ничей*».

В своей идеологической неудаче Розанов не мог отдавать себе отчета. К этому присоединилось еще и другое — сознание своего морального неблагополучия: известно его двуручничество в печати, его предательские выходы в отношении друзей. Может быть, бесчестие давалось ему легко, без сомнений и угрызений совести, но он не мог не знать, как на это смотрят окружающие. А *la longue* такое сознание не могло не вызвать в нем опасений касательно положения своего в литературе. И можно предположить, что невольно, постепенно, ощупью он пришел к сознанию, что вернейший его шанс уцелеть — это открыто поставить в центр своего творчества себя самого, со всеми своими противоречиями и даже пороками, возведя в принцип свою безпринципность. Он стал даже, пожалуй, эти свои свойства заострять, не брезгуя выходками, явная цель которых — «*épater le bourgeois*»: вот, мол, полюбуйте тем, как я прогуливаюсь по нивам отечественной словесности нагишом! Так возникли «Опавшие листья» и «Уединенное», где, наряду с примерами поразительной интуиции, изобилуют образцы литературного кокетничанья и юродства.

Возможно, что я несколько преувеличиваю степень сознательности в этом выставлении на показ собственной своей личности, как *ultima ratio* в стремлении утвердить себя, но бесспорным остается факт, что именно как своеобразная личность, как нравственный уикум, а не как мыслитель, Розанов войдет в литературу. Если это так, то задача Ю. П. Иваска сводилась к тому, чтобы из всей массы написанного Розановым извлечь именно то, что способно дать читателю наиболее выпуклое представление о личности Розанова. В этом смысле можно только всячески одобрить сделанный им выбор и, в частности, решение уделить всего больше места «Уединенному» и «Опавшим листьям» (занимающим более половины воспроизведенных в сборнике текстов). Заслужен ли упрек, вскользь сделанный В. В. Вейдле (в книге VII «Опытов»), по поводу исключения из сборника «заметок черносотенных», исключения, мотивированного тем, что они «пера Розанова недостойны и писаны неискренно»? В пользу мнения Вейдле говорит сообра-

жение, что если задача составителя состояла в том, чтобы дать всестороннее и рельефное изображение личности Розанова, то не следовало опускать его «черносотенных» выступлений, как бы ни оценивать их литературные достоинства. И добро бы это были действительно случайные «заметки», а то ведь свою антисемитскую агитацию, например, Розанов вел из года в год, в «Новом Времени»; он не гнушался даже выступлениями в «Земщине», помещая там, по свидетельству З. Н. Гиппиус, статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое Время» (за что он исключен был из Религиозно-философских собраний). А делу Бейлиса Розанов посвятил объемистую книгу под сочным заглавием «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914), книгу, которая не могла бы быть иной, если бы была написана по заказу Союза Русского Народа. Какие же основания предполагать, что все это писалось «неискренне»? Да и где, вообще, у Розанова начинается неискренность? В том же порядке можно было бы возразить и против очевидного нежелания компрометировать Розанова воспроизведением слишком скабрёзных пассажей из его рассуждений о сексуальных вопросах. Такая щепетильность способна даже ввести читателя в заблуждение: так, из «Людей лунного света» приведено только предисловие в отрывках, могущих вызвать впечатление будто сюжет книги исключительно религиозный, тогда как она посвящена вопросам Пола и преимущественно патологическим извращениям, с обильными выписками из Краффт-Эбинга и других подобных источников.

Однако, было бы несправедливо не отметить, что в обстоятельном своем вступительном очерке Ю. П. Иваск не оставляет в тени ни одной стороны в литературном наследии Розанова и ничуть не старается замолчать того, что было в его биографии неблагоприятного. В конце концов, составителю было предоставлено только ограниченное число страниц, так что нечего было думать о том, чтобы приводить обширные образцы розановского «черносотенства», а краткие выдержки не дали бы представления о размахе последнего. Следует учесть и то, что «антологические» достоинства таких выдержек были бы крайне сомнительны. Поэтому в конечном итоге правота, верно, на стороне Ю. П. Иваска, сознательно съузившего свой выбор. Сборник его представляет большую ценность не только вследствие отсутствия собрания сочинений Розанова, а и потому, что такое собрание состояло бы в значительной части из материала, который рядового читателя оттолкнул бы по своей безнадежной устарелости.

М. Кантор